



Василий
ЛИВАНОВ

Люди
и
куклы



Василий Борисович Ливанов Люди и куклы (сборник)

Издательский текст
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3948785
Люди и куклы: Астрель; М.; 2012
ISBN 978-5-271-37762-4

Аннотация

Василий Борисович Ливанов – не только великий актер, но и очень талантливый писатель. В книгу вошли его лучшие произведения, повести и мемуары о самых выдающихся людях нашей культуры – от Бориса Пастернака до Фаины Раневской.

Содержание

ПОВЕСТИ	4
Ночная «Стрела»	4
Богатство военного атташе	19
Иван, себя не помнящий	67
Конец ознакомительного фрагмента.	71

Василий Борисович Ливанов

Люди и куклы

ПОВЕСТИ

Ночная «Стрела»

В дороге вы встречаете случайных попутчиков, иногда близких вам по профессии или восприятию жизни. Такие встречи бывают интересны и даже полезны, но – знаю об этом по опыту – как правило, никогда не повторяются.

Я с удовольствием отдал двум героям повести случаи из моей студенческой и профессиональной театральной жизни. Историю странной любви третьего героя мне когда-то рассказал Владимир Иванович Москвин – мой старший друг и учитель по театральному институту. Эту любовь он пережил сам.

Женский портрет, открывающий повествование, нарисован мной в год окончания Художественной школы. Сейчас мне кажется, что образ позировавшей для портрета женщины, имени которой я не знаю, сродни образу лирической героини моей дорожной повести.

Стрела состоит из трех частей: наконечника, древка и оперения.

(Из Энциклопедии)

С той недавней поры, как Петя Баташов начал ездить в ночных поездах, ему стало казаться, что эта решающая всю его жизнь встреча, предчувствие которой тревожило и занимало его последнее время, что встреча эта должна случиться именно в поезде. И обязательно в скором поезде Москва – Ленинград, в одном из темно-красных вагонов с широкими желтыми полосами на боках. Даже буквы, наклеенные на каждый вагон поверх окон с желтыми занавесками, крупные буквы, из которых складывалось название поезда «Красная стрела», представлялись Пете таинственными знаками, скрытый смысл которых ему одному предстояло вскоре разгадать.

«Красная стрела» подается к перрону за час до отправления, и Петя всякий раз стремился занять свое место пораньше. Он нарочно медленно брел вдоль вагонов, внимательно вглядываясь в женские лица.

И с замиранием сердца толкал тугую дверь купе. Конечно, Петя был уверен, что его странное предчувствие воплотится в молодую женщину, одиноко присевшую на нижнюю полку.

Петя даже отчетливо представлял себе, как она, эта женщина, поднимет на него удивленные, чуть испуганные его неожиданным появлением глаза.

Но, кроме этого взгляда, Петя решительно ничего не мог вообразить. Он даже не представлял себе, как будет выглядеть эта женщина, какой у нее рост, голос, цвет волос и глаз.

Иногда Пете казалось, что на ней должно быть синее в крупный белый горошек платье. Но и это смутное видение еще больше размывало реальный образ.

И сейчас, толкнув дверь купе, Петя остался досадно разочарован. На нижней полке одиноко сидел костлявый старик, он взглянул на Петю строгими белесоватыми глазами. Петя запоздало поздоровался:

– Здравствуйте! – и сорвался с буквы «а» на фистулу.

Старик поспешно и подчеркнуто почтительно склонил гладко причесанную седую голову. Петя заподозрил в этой поспешности и почтительности насмешливое к нему, Пете, отношение.

Петя задвинул за собой дверь и украдкой посмотрелся в зеркало. Из зеркала на Петю глянуло хорошо знакомое лицо очень молодого человека.

А старик поднялся и теперь стоял в тесном проходе, между спальными полками, на целую голову возвышаясь над Петей.

– Простите, молодой человек, – сказал старик таким густым басом, что Петя невольно вздрогнул. – Я, очевидно, занял ваше место. Мое – вот. – И, протянув длинную руку, Петин дорожный сосед похлопал ладонью по ворсистому ромбу красного с белыми разводами одеяла, выступающего из конверта чистой простыни на одной из верхних полок.

– Нет, ничего, что вы, сидите, пожалуйста.

Петя сверился по билету. Старик действительно занимал его место.

– Благодарю вас, – низкой октавой отозвался старик, снова усаживаясь. – Давайте знакомиться. Меня зовут Василий Васильевич.

Петя присел напротив и буркнул:

– Петя.

– Петя, – повторил старик. – Очень приятно. Тогда я вам неверно представился. Вася. Просто Вася.

– Ну, что вы... – глупо возразил Петя. – Я ведь... Ведь вы... – И, чувствуя, как запылали от смущения уши, поправился: – Петр Артемьевич.

– Сердечно тронут. – Старик кивнул еще раз. – Чай будете пить, Петр Артемьевич?

Петя не успел ответить. Дверь в купе отъехала в сторону, милое женское лицо прижалось щекой к косяку и оглядело Петю и Василия Васильевича быстрыми темными глазами.

«О н а!» – пронеслось в Петинем померкшем сознании.

– Макс! – громко окликнула кого-то женщина. – А у тебя очень симпатичные соседи. – И засмеялась.

Рядом, в тесном проеме двери, уже стоял боком коренастый усатый мужчина с красным обветренным лицом.

– Значит, опять удача, Лизон, – отозвался он резким веселым голосом и, даже не взглянув на своих будущих спутников, бросил через плечо: – Сюда, дамы и господа! – И, совсем загородив проход, стал сдирать со своего короткого сильного тела скрипящую куртку.

– Можно? – Темноглазая Лизон присела рядом с Петей.

От блестящих ее волос пахло крепкими сладкими духами.

Воротник замшевого пальто был небрежно приподнят и задевал краем розовую мочку уха с тяжелой золотой серьгой.

«Нет, не о н а», – сам не зная почему, решил Петя и с облегчением стал рассматривать наполнявших купе людей.

Макс и с ним двое мужчин, один лысоватый, другой в очках, усаживались напротив, оттеснив Василия Васильевича к самому окну, к желтой занавеске.

К Лизон подседа немолодая полная блондинка. Еще одна женщина, высокая и тонкая, в рыжем лисьем малахае, низко надвинутом на глаза, осталась стоять в дверях.

– Ася, садись, ну садись сюда, – зазывала ее блондинка.

– Садись, Ася! – крикнул тот, которого называли Максом. – Займи свое место под солнцем.

– Под полкой, под полкой, – поправил Макса лысоватый.

– Вы иссякли, Пороховщиков, – оборвала Ася лысоватого и обратилась к Василию Васильевичу: – Извините нас, пожалуйста. У Фалеева, – она кивнула малахаем в сторону Макса, – сегодня день рождения.

– У Максика праздник! – взвизгнула блондинка.

– Примите наши поздравления, – словно в колокол ударил Василий Васильевич.

– Вот это да! – восхитилась Лизон.

Все рассмеялись.

– Вы стаканчики просили? – Проводница стала передавать в купе пустые чайные стаканы в подстаканниках.

Пете и Василию Васильевичу тоже всучили по стакану.

– Только не задерживайтесь, товарищи провожающие, – попросила проводница.

– Провожающие, не забудьте взять вещи отъезжающих, – сказал иссякший Пороховщиков.

Ася безнадежно махнула в его сторону рукой в тугой черной перчатке.

Хлопнуло шампанское.

– Меня не облейте, меня не облейте! – пищала блондинка.

– За мою женушку! – провозгласил Фалеев, чокнулся с Лизон, а за ним все остальные потянулись чокаться.

Сделалось душно, шумно и тесно.

– А кто шоколад увел, господа? – допытывался Фалеев. – Было же три плитки.

– Шоколад съела Ася! – выкрикнул Пороховщиков.

– Боже мой, – вздохнула Ася.

Пороховщиков вдруг выхватил стакан у молчаливого мужчины в очках, вытянул вперед обе руки и так замер, закрыв глаза. Все стихли и с веселым удивлением смотрели на него.

– За Асю!.. – сказал Пороховщиков, не открывая глаз. – За Асю, которую я очень люблю. – И выпил оба стакана один за другим.

– Bravo! – сказал Фалеев.

Блондинка визгливо смеялась.

– Это лучшая ваша шутка, Пороховщиков, – грустно произнесла Ася. – Лучшая ваша шутка. Самая лучшая. Поздравляю.

«Нет, и это не она, – подумал Петя про Асю. – Ее тут вообще нет».

Из-за Асиного плеча возникло испуганное лицо проводницы.

– Ну что ж вы, товарищи, радио не слышите?

Гости Фалеева неловко затолкались в купе.

– Где моя сумочка, Лизон? Сумочка моя где? – верещала блондинка.

– Отправляем!!! – донесся отчаянный крик проводницы.

Компания затопотала по вагону.

Фалеев раздвинул желтые занавески – и вот они, провожающие, в раме окна, как на групповом снимке.

Поезд дернулся, и гости стали уплывать за раму, что-то крича и размахивая руками. Одна Лизон некоторое время еще бежала по перрону, посылая воздушные поцелуи. Но вскоре и она отстала.

Состав набирал ход. Фалеев поправил занавеску и сел рядом с Василием Васильевичем.

– Вот за границей, – сказал Фалеев, – все экспрессы идут абсолютно бесшумно. А у нас... Такое впечатление, что под вагон пустое ведро подвешивают, как под телегу.

Василий Васильевич усмехнулся.

– Нет, серьезно. Вы послушайте! – и Фалеев выставил перед соседями крепкий указательный палец, требуя тишины.

Под вагоном что-то утробно погромыхивало.

– Действительно, похоже, – согласился Василий Васильевич.

– Нет, очень, очень похоже на ведро, – горячо поддержал Фалеева Петя. – Я раньше не замечал.

– А ведь мы с вами знакомы, – Фалеев в упор разглядывал Василия Васильевича. – Вы Бучинский?

– Совершенно верно.

– Вы меня должны вспомнить: Максим Фалеев. Я был на режиссерской практике у... – Фалеев назвал фамилию маститого кинорежиссера. – Фильм «Битва». Вы тогда ставили там конные стычки.

Густые пегие брови старика взлетели на лоб, затем спрыгнули к длинной переносице, стянув лоб глубокой поперечной морщиной, и медленно расползлись по местам.

– Кажется, припоминаю, – прогудел Василий Васильевич. – Очень приятно. – И протянул Фалееву большую белую руку, которую тот быстро схватил и с усилием тиснул короткими крепкими пальцами.

– И мне приятно. Вы на меня тогда сильное впечатление произвели. В седле сидите как бог. Простите... э-э...

– Василий Васильевич, – ревниво подсказал Петя.

– ...а сколько вам лет? – ловко обойдя Петину подсказку, спросил Фалеев.

– С вашего позволения, семьдесят шесть.

Фалеев присвистнул и провел ладонью по жесткой щетке своих волос от затылка к носу.

– Ну, вы боец!

Василий Васильевич улыбался, блеклые глаза его светло поблескивали.

– Вон зубы какие, точно у волка, – почему-то обиженно констатировал Фалеев.

– Это что! – пробасил старик. – Вы бы посмотрели, какие еще у меня дома лежат!

Вошла проводница удостовериться, что все уплатили за постели.

– Значит, одно местечко у вас свободно, – и оглядела верхнюю, аккуратно застеленную ничью полку.

Собрала пустые стаканы и пообещала принести чаю покрепче.

Петя решил не обижаться, что его не включают в беседу. Конечно же Максим Фалеев – это тот самый режиссер кино, многосерийные ленты которого Петя неоднократно смотрел по телевизору. А Василий Васильевич... Уж не тот ли это В. Бучинский, автор тоненькой книжечки «Искусство кинотрюка», которую Петя как-то пролистывал в театральной библиотеке? Книжечка была издана ох как давно, и Петя никак не предполагал, что ее автор – живой человек.

Теперь Петю больше всего заботил вопрос о том, чтобы с достоинством занять свое место «под полкой», как выразился иссякший Пороховщиков.

Известный кинорежиссер, старый мастер кинотрюка – и он, Петя Баташов, теперь актер кино. Пусть никому еще не известный, но кто знает? Кино – это такая штука...

Петя встал в проходе якобы для того, чтобы снять с верхней полки свою спортивную сумку, а на самом деле, чтобы еще раз проверить свой внешний вид в зеркале. Клетчатая рубашка, из воротника торчит не очень могучая шея. Уши оттопыренные, красные. Ни тебе кожаного пиджака, ни баса – ничего артистического.

Петя сел на место и с нарочито озабоченным видом стал рыться в сумке, приведя в полнейший беспорядок две пары носков, галстук, рубашку и кулек с домашними сдобами, заботливо уложенные мамиными руками.

На столике в купе появился чай и брикетки сахара в синих обертках.

Фалеев сунул короткую руку в задний карман брюк и поставил на столик плоскую стеклянную фляжку.

– Финь-шампань не по мне, – заявил Фалеев. – Это вот мужской напиток. Как-никак у меня сегодня день рождения.

– Однако без закуски... – Василий Васильевич смотрел на коньячную флягу с сомнением.

– У меня есть! – закричал Петя, поспешно высвобождая из сумки кулек со сдобами. – Мама напекла...

– Опять удача. – Фалеев по-хозяйски заглянул в пакет. – Ваша мама – просто чудо!

– Она у меня ничего, – сказал Петя голосом еще более низким, чем у Бучинского. – Всегда мне что-нибудь даст... на съемку. – И Петя задохнулся.

Фалеев скручивал металлическую пробку уверенной рукой.

– Вы снимаетесь в кино?

– Да, на «Ленфильме», – отдышавшись, отвечал Петя уже своим голосом, стараясь не спешить. – Играю солдата. Новобранца. Главная роль.

– У кого?

Петя назвал режиссера.

– А-а-а...

Пробка никак не давалась.

– Я в прошлом году окончил училище при Нашем театре, – заторопился Петя. – И был принят в театр. Но ничего там за целый год не сыграл. Ничего.

– Как, совсем ничего? – спросил Бучинский.

– Нет, кое-что. Играл труп.

– Кого?!

– Роль трупа. Труп сына героини. Мама два раза ходила смотреть. Честное слово!

Фалеев фыркнул по-кошачьи и повалился на Василия Васильевича, который, прикрыв лицо широкой своей ладонью, затрясся в беззвучном смехе.

– Не верите? – заволновался Петя. – Меня выносили на куске холстины четыре актера. Но после они подали жалобу в дирекцию, чтобы труп заменили. Он, то есть я, тяжелый, а они все пожилые.

Фалеев перестал крутить пробку и уставился в Петино пылающее румянцем лицо округлившимися веселыми глазками.

– Пощадите, голубчик, – рыдающим басом попросил Василий Васильевич.

– Нет, правда! Одноактная пьеса Брехта...

– Хватит! – простонал Фалеев. Он поднялся и крепко растер ладонями багровое свое лицо. – Как вас зовут?

– Петр Артемьевич! – объявил Бучинский.

– Баташов, – добавил Петя.

– Вам надо в комедиях играть. – Фалеев свернул пробку.

– Мне в чай, немного, – подсказал Василий Васильевич, когда Фалеев разливал коньяк.

– Поздравляю вас обоих с моим днем рождения.

Пете уже приходилось пить коньяк, но маленькой рюмочкой. А здесь золотистая плотная жидкость слегка подрагивала в тонком стекле, наполняя стакан почти до половины.

«Держись, Баташов», – сам себе приказал Петя и, чокнувшись со своими спутниками, разом опрокинул коньяк в широко открытый рот.

– Ну кто же так коньяк пьет, молодой человек! – услышал Петя укоризненный бас Бучинского. – Это же благородный напиток, его муссировать надо. – Василий Васильевич выставил вперед губы и задвигал худыми щеками, показывая, как именно муссируют. – По плоточку, по плоточку, а вы, будто кашалот, – ам!

В животе у Пети кто-то маленький и энергичный стал быстро-быстро растапливать печку. И от приятного жара этой печки Петя почувствовал необыкновенную расслаблен-

ность в душе и в теле. Петя подумал, что это, может быть, даже очень хорошо, что он опять не встретил сегодня ее, а вот сидит, как равный, с этими симпатичными людьми, такими милыми, необычайно славными, с Василием Васильевичем и Марк... Макс... Максимом Фалеевым, да!

«Ты опьянел», – подумал за Петю кто-то другой, посторонний.

«Ну и что?» – нахально ответил Петя этому постороннему.

– Знаете, – сказал Петя, влюбленно оглядывая своих спутников, – давайте не спать всю ночь. Пусть эта встреча запомнится нам на всю жизнь.

– Круто! – Фалеев скосил глаза на Бучинского.

– Я согласен, – отозвался Василий Васильевич. – По-моему, замечательно придумано!

– Тогда – вперед! – подытожил Фалеев и впился в мамину сдобу.

– А сейчас в театре что-нибудь играете? – прихлебывая чай, спросил Бучинский.

– Я из театра ушел. Совсем.

– И не жалеете?

– Нет. – Петя бодливо затряс головой. – Нет. Не жалею. Знаете, у нас в училище преподавал профессор Сурмилов. Сам я у него не учился, но всегда жалел, что не попал к нему на курс. Вы же, конечно, знаете, какой он прекрасный артист, один из основателей Нашего театра. Ну, вот. Его ученики перед всеми нос задирают: мы – сурмиловцы! Из моего выпуска в театр приняли пятерых: четырех ребят и одну девушку. Она как-то сразу от нас откололась, у нее в театре были свои интересы. А мы четверо держались все вместе. И сидели в одной грим-уборной, на самой верхотуре под крышей. Первый сезон в театре, да еще в Нашем. Знаете, волнения, сомнения. Роль получил только один наш товарищ. Он, счастливчик, нас утешал, как умел: «Это, – говорит, – случайность, что именно мне дали, просто внешние данные подошли. Скоро и вы, ребята, сыграете хорошие роли». Мы, конечно, верили и надеялись. И вдруг однажды в антракте он вбегает в нашу грим-уборную, глаза сияют, рот до ушей.

– Ребята, – говорит, – нас всех приглашает Сурмилов к себе на дачу!

Мы друг друга каждый день разыгрывали и сначала ему не поверили. Но он, наш товарищ, на колени перед нами встал.

– Хотите, – говорит, – поклянусь!

Мы друг друга хорошо знали и видим – правда. Но почему вдруг Сурмилов нас приглашает? Почему?

– Мы, – сказал Славка (это счастливчик), – не учились у Сурмилова, но стали актерами Нашего театра. И старик, наверное, хочет с нами поближе познакомиться. Ободрить нас, поговорить об искусстве Нашего театра, может быть, сказать нам, дуракам, что-то важное, сокровенное... Поэтому и приглашает нас всех на дачу. Там природа, зима, тишина.

Завтра в театре – выходной день. Завтра в восемь часов утра сам Сурмилов будет ждать нас, четверых молодых актеров, на пригородной платформе Ярославского вокзала. И сам введет нас в свой дом.

После спектакля мы закрылись в грим-уборной и долго совещались. Одеться решили парадно ради такого торжественного дня. У Юры, оказалось, нет подходящих туфель, а у Женьки вообще никакого пиджака. Славка выручит Женьку пиджаком, а туфли Юра «одолжит» в костюмерной театра. Белые рубашки и галстуки есть у всех.

Дома я просмотрел свою библиотечку театральной литературы: на всякий случай. Каждый полчаса вскакивал и хватался за будильник: боялся проспать. И вот темным снежным московским утром мы четверо, чисто выбритые, в белых рубахах и начищенных туфлях, видим, как из снежной завесы вылепляется перед нами невысокая фигура прославленного артиста и педагога. Заснеженные воротник и шапка, знакомое и такое издали любимое лицо в сети мелких морщинок, насмешливые цепкие глаза.

– Здравствуйте, юноши, – произносит он своим характерным каркающим голосом. И жестом фокусника разворачивает перед нами веер билетов на электричку.

Мы садимся в вагон и едем. Едем к нему. Он не глядит на нас. Смотрит в окно, где проносятся, постепенно высветляясь, зимние подмосковные пейзажи, молчит и думает о чем-то своем. Неужели эти думы скоро, может быть, станут и нашими думами?

Молча, вереницей идем за ним от станции по узкой скользкой тропинке, протоптанной в глубоком снегу. Дачный поселок. Верхушки редких сосен уже четко вырисовываются на совсем посветлевшем небе. Сурмилов снимает замок с калитки в высоком сером заборе, и мы видим в глубине заснеженного сада старый деревянный дом с узким крыльцом и застекленными террасами.

– Молодежь, – обращается к нам Сурмилов, поднимаясь на крыльцо, – я буду растапливать печь, а вы пока сами согревайтесь: да вот хоть дорожки расчистите. Лопаты за углом, у сарая.

Мы, конечно, успели промерзнуть в своих начищенных туфельках. Быстро разбираем широкие лопаты, и пошла потеха. Расчистили дорожку от крыльца до калитки, потом вокруг дома, потом от дома к сараю.

А из трубы уже сладко тянет смоляным дымком.

Женька говорит:

– И мы подымим. Перекур!

Смотрим, туфли наши и брюки до колен промокли. Но разве в этом дело!

– Молодцы! – Сурмилов стоит на крыльце в цигейковой безрукавке, высоких валенках и улыбается нам своей знаменитой сурмиловской улыбкой. – Устали, юноши?

Мы хором: «Нет!!!»

– А ну-ка, там, за сараем, бревнышки, топор и пила. Нет ничего здоровее, чем работа на свежем воздухе, молодежь!

Уже стало смеркаться, когда Женька бросил топор и красными, распухшими пальцами достал из пачки последнюю сигарету. Спички никак не зажигались. Женька швырнул коробок в снег:

– Отсырели... – и выругался.

– Кушать подано! – раздался знакомый каркающий голос, и мы вошли в дом.

Большая печь полыхала жаром. На узком столе стояли четыре эмалированные кружки. Около каждой лежал кусок хлеба, накрытый сырным квадратиком. Сурмилов широким жестом пригласил нас к столу. Сам сел в торце, тихонько постукивая морщинистыми пальцами по доске. И молчал. И молчал. И молчал!

Мы прихлебывали жидкий остывший чай и боялись взглянуть друг на друга. Допили, поставили кружки.

– А, вот еще! – Сурмилов поднялся. – Совсем забыл!

Он прошел в угол горницы, нагнулся, подцепил кольцо, вбитое в половицу, поднял тяжелую крышку. Свежо и пьяно запахло антоновкой. Сурмилов, кланяясь в подпол, долго выбирал и, вернувшись к столу, положил перед каждым по твердому зеленому яблочку. Мы не поблагодарили и до яблочка не дотронулись.

Это смешно, наверное, но мы все еще ждали. И даже когда он запирает дом, мы ждали, и когда возвращались в сумерках на станцию, молча ехали в Москву в электричке, и на вокзале, когда он сказал: «Приятных снов, юноши...»

Петя замолчал. Он скручивал угол салфетки на столике, разматывал и снова скручивал.

Большая рука Василия Васильевича накрыла Петину руку.

– Василь Василич, – сказал Петя. – Василь Василич! Мы с ребятами никогда не напоминаем друг другу этот случай. Не знаю, почему я вдруг вам, сейчас...

Фалеев потянулся к висящей у двери куртке. Достал из бокового кармана изящную трубку с прямым мундштуком и круглую жестяную коробочку раскрашенную по крышке сине-красной шотландской клеткой.

Деловито и сосредоточенно набил увесистый чубук, уминая табак крепким маленьким мизинцем с отросшим ногтем, чиркнул зажигалкой, торопливо несколько раз затянулся, выпустил облачко дыма и спросил:

– Мне, как новорожденному, можно покурить здесь? Или позвольте выйти вон?

– Дымите, – разрешил Бучинский. – Что за мужская компания без табака?

– Очень вкусно пахнет, – заметил Петя, потянув носом.

– Еще бы. Ведь это «Клан» – лучший трубочный табак. В Лондоне брал самолично.

С видом знатока Петя поинтересовался:

– Вы его с чем-нибудь смешиваете?

– Смешивать, Петруша, ничего ни с чем никогда не надо. Я предпочитаю отделять. Работу от отдыха, хобби от заработка, жену от любовницы. В этом, по-моему, состоит профессионализм в жизни и в искусстве. А вы согласны, Василий Васильевич?

– Не зна-аю, – протянул Бучинский. – Не знаю... В живописи, насколько мне известно, смешивают краски, чтобы добиться колорита – единственного, неповторимого. И, заметьте себе, неплохие профессионалы получались... А в жизни... Не знаю... – Старик вдруг лукаво улыбнулся. – Вот вы, например, омлет захотите съесть. Вы что же, сначала чашку молока выпьете, потом проглотите два яйца, а потом ложку соли? Как же тут не смешивать?

Петя рассмеялся, а Фалеев поперхнулся дымом и стал по-детски тереть глаз кулаком.

– Я, наверное, все-таки смешиваю, – сказал Василий Васильевич, – вот коньяк в чай попросил налить. Путать не надо коньяк с чаем, а смешивать... отчего же. Впрочем, я в этих делах не профессионал.

– Кстати, о профессионализме и коньяке... – Фалеев откинулся к стенке, лицо его ушло в тень. – Я ведь тоже начинал как театральный актер. Да, Петруша. Из Харькова по распределению попал в степной городишко районного значения. Театральное помещение там существовало еще до революции, но пустовало. В зале иногда кино крутили на передвижке, а в фойе танцы-шманцы под аккордеон. Освоение целины все это изменило. Надо подымать культуру на местах! Объявился режиссер – молодой, энергичный, – собрал труппу: частично театральных волков из провинции, частично выпускников разных школ. Я попал в театр, когда они уже разыгрались вовсю. В день моего приезда исполнитель роли второго лакея в инсценировке по известной повести Горького вдруг заболевает. И срочно вводят меня. С одной репетиции. В первом акте я доношу через сцену поднос с двумя бокалами. Во втором меня вообще нет, а в третьем – кульминация роли. Один из эпизодических купцов подходит к буфетной стойке, за которой я торчу, а я должен, угодливо улыбаясь, налить ему рюмку коньяку. После чего мой партнер отходит с рюмкой на авансцену, произносит свою единственную фразу: «Знаем мы этих Маякиных» – и выпивает коньяк до дна.

– Не верю! – кричит на репетиции главреж из темного зала. – До дна! Именно до дна! И многозначительней, гораздо многозначительней! Теперь верю!

Нет маленьких ролей, есть маленькие актеры. Это всем маленьким актерам известно. Я приходил в театр за два часа до спектакля и искал себе грим. Загримировавшись, я выхаживал по гримерной, пробуя разные походки. Я честно работал над образом второго лакея. И публика оценила мои усилия. Мой проход с двумя бокалами стал вызывать «оживление в зале». Значит, я хорошо усвоил школу. Но я не был профессионалом.

– Одеяло на себя тянешь? – спросили меня лакеи первый и третий.

На следующем спектакле они со мной не поздоровались.

Я тщательно готовил свой реквизит. На буфетной стойке расставлял бутылки из-под шампанского. Горлышки были забиты замшелыми пробками, и в бутылках просматривалась

какая-то жидкость. Говорили, что эти бутылки сохранились в реквизите еще с дореволюционных времен, когда в театре гастролировали приезжие труппы. Кроме этих бутылок, стойку украшали слюдяные бутафорские фужеры, картонные тарелки и хилая оловянная вилка.

Бутылку со свежесваренным чаем, изображавшим коньяк, и граненую стеклянную рюмочку я прятал под стойкой отдельно. Каждый спектакль мой партнер – опытный театральный волчище – направлялся к стойке, путаясь в огромной бороде. Я извлекал бутылку и наполнял чаем рюмочку. Партнер брал рюмочку, отходил на авансцену, говорил: «Знаем мы этих Маякиных» – и осушал рюмку до дна, очень многозначительно.

И вот на очередном спектакле я сунулся под стойку за приготовленным реквизитом, а там – пусто! Ни рюмочки, ни бутылки с чаем. Никаким гримом и никакой походкой не восполнишь эту утрату!

А борода моего партнера уже надвигалась на меня. Надо было принимать решение мгновенно, как в воздушном бою. Я схватил со стойки бутылку из-под шампанского. Чем открыть? Оловянная вилка свернулась в штопор. Но замшелая пробка, пискнув, поддалась и провалилась в горлышко.

О! Чудовищное зловоние ударило в ноздри, остановило дыхание. Я нагнул бутылку над слюдяным фужером. Что такое? Из бутылки ничего не полилось. Но я же своими глазами видел, что она почти полная! И тут в бутылке раздалось какое-то ворчание, бутылка дернулась у меня в руке, и что-то зеленое, как мне со страху показалось – живое, выскочило в фужер, и вдогонку густая зловонная жидкость, спазматически низвергаясь, наполнила слюду до краев.

На глазах моего партнера выступили слезы.

– Что же ты делаешь, с-сукин ты сын, что ж это ты делаешь? – шептал он сквозь бороду. Дрожащей рукой я протянул ему полный до краев фужер.

И он взял. Взял и пошел на авансцену, неся фужер в вытянутой руке, как флаг.

– Знаем мы этих Маякиных! – бодро выкрикнул партнер, замолчал, подумал... и выпил фужер до дна.

Глаза его засветились неземным огнем. Он еще немного постоял на авансцене неподвижно, потом смял фужер в кулаке, бросил себе под ноги, подхватил обеими руками огромную свою бороду и стал запихивать ее себе в рот.

Так с бородой во рту он ушел со сцены, задирая ноги, будто подымался по крутой лестнице.

Когда занавес упал, я бросился в актерское фойе. Мой партнер яростно отмахивался сорванной бородой от обступивших его актеров.

– Руки прочь! – кричал он на уборщицу, срочно прибывшую с ведром и тряпкой. – Не смей убирать! Пусть все видят! Тридцать лет на сцене – кругом завистники! Сопляка подговорили! Он хотел меня отравить!

Мой партнер был настоящим профессионалом.

Мне влепили строгий выговор «за нарушение творческой дисциплины» и не дали роль в очередной пьесе. Лакеи первый и третий со мной опять здоровались.

Свободными вечерами на меня находила тоска. Чтобы как-то развеять ее, я бродил по городу. Темно, холодно, фонари глядели тускло. Несколько светлее было на «пяточке» у единственного в городе ресторана, где над входом дрожала сизая неоновая надпись «Иртыш». Зайти в ресторан я не мог. Как говорил мой сосед по общежитию: «Во-вторых, у меня нет денег».

Неизвестно, как бы сложилась моя дальнейшая жизнь, если бы не ничтожный на первый взгляд случай.

Как-то я проходил мимо ресторана, был уже поздний час – открылась парадная дверь, и швейцар вытолкнул на широкие ступеньки какую-то подвыпившую фигуру, выбросил вслед

шапку, и стеклянная дверь со звоном захлопнулась. Фигура подобрала шапку и стала громко стучать в закрытую дверь. Я остановился и стал смотреть от нечего делать. Фигура стучала настойчиво. Вдруг дверь распахнулась, и швейцар, ловко повернув фигуру за плечи, дал ей пинок под зад.

Фигура слетела со ступенек и воткнулась в сугроб. Шапка опять упала.

Швейцар застыл в дверях. Поза его не предвещала ничего хорошего.

Фигура выбралась из сугроба, отряхнулась, подобрала упавшую шапку и, назидательно подняв палец, обращаясь к швейцару, четко произнесла:

– И всегда буду стремиться!

После чего, нахлобучив шапку, гордо удалилась в темноту.

Я пошел к себе в общежитие и все повторял: «И всегда буду стремиться».

Вскоре получаю письмо от одного ленинградского приятеля: в Ленинграде открывается набор на высшие курсы режиссеров кино.

«И всегда буду стремиться».

Мне выслали нужные книги, программу поступления, и я засел за подготовку.

– И вот, – Фалеев осклабился, выставил широкую грудь и раскинул в стороны руки характерным жестом индийского божка, – могу всех вас пригласить в ресторан «Иртыш».

– Мы стоим, – заглянув за желтые занавески, удивился Петя.

– Это, по-видимому, Бологое. – Бучинский поднялся и, отодвинув зеркальную дверь, вышел из купе. Вслед за ним потянулись серые нити табачного дыма.

Петя тоже выбрался в коридор. Длинный ряд лампочек светился вполнакала. Петя попытался открыть окно. Оно не поддавалось.

– Дайте-ка. – Фалеев отодвинул Петю плечом, ухватился за металлические скобы оконной рамы и потянул с таким усилием, что суставы пальцев побелели. Рама медленно поползла вниз.

Дохнуло сырým холодом.

В призрачном тумане угадывался край перрона, за ним темный провал рельсовых путей, и еще дальше и выше над провалом расплывались станционные огни.

Там, за туманом, Пете вдруг вообразились суровые северные страны, где на жесткой, промерзшей земле стынут между редкими соснами крутые каменные глыбы-валуны, где из низких бревенчатых, крытых красной черепицей домиков выходят в этот предрассветный туман высоченные голубоглазые блондины с колючими рыжими бородами, раскуривают на сыром ветру трубки – табак «Клан», ни с чем не смешанный, – и враскачку, потому что все они моряки, направляются к темным прибрежным скалам, к фиордам, – и смотрят оттуда вдаль, в море, северное конечно.

Блондины дымят трубками, друг с другом не разговаривают – все они очень молчаливые, – пока кто-нибудь не спеша не освободит рот от теплой трубки и не промолвит басом: «Грумонт» (это такой остров), – тогда все сурово закивают головами и...

Где-то за станцией испуганным птичьим голосом крикнула паровозная сирена. И сразу же близко, совсем рядом, зашаркали и застучали шаги.

По перрону, вдоль вагонов, тесно друг к другу двигались какие-то люди. Подпрыгивая и дрожа, приближался свет карманного фонарика.

Мимо окон, тяжело ступая, в ногу прошли санитары с носилками. Женщина в халате и в белой шапочке – наверное, врач, – нагибаясь к носилкам, торопливо поправляла на ходу темное с белыми разводами одеяло, кого-то укутывала.

За носилками шагал бригадир поезда, светя фонариком. Черная с золотом форменная фуражка и золотое шитье петлиц придавали процессии странную торжественность.

Потом туман вобрал в себя санитаров с носилками, белый халат врача, фуражку бригадира, и свет карманного фонарика смешался со станционными огнями. Поезд тронулся.

Хлопнув дверью, из тамбура вошла проводница.

– На шесть минут задержались, – объявила она, ни к кому в особенности не обращаясь, и вздохнула.

– Что там стряслось? – поинтересовался Фалеев.

– Не знаю. «Неотложка». Сняли человека с поезда. – И, посмотрев на часы, велела: – Окно закройте. Вы мне пассажиров простудите.

Петя вернулся в купе. Аккуратный ромб красного с белыми разводами одеяла смотрел из нетронутого конверта чистой простыни на не занятой никем верхней полке. В углу, за несмятой подушкой, прижалась неясная тень.

У Пети на душе стало тревожно. Может быть, она должна была занимать это место и опоздала. «А вдруг с нею что-нибудь случилось? – подумал Петя. – Что-нибудь нехорошее». И сам себе удивился: черт знает какая ерунда лезет в голову.

– Я вот, – Фалеев зевнул, – я вот никогда ничем не болел.

– А я очень даже болел, – живо отозвался Петя. – А вы, Василий Васильевич?

– Я однажды болел смертельно. Было это давно...

Происхожу я, осмелюсь доложить, из семьи военного.

Отец мой – кадровый русский офицер, кавалерист.

Погиб осенью четырнадцатого года в Галиции. Матушка моя, безумно любившая отца, вдруг через год выходит замуж за выслужившегося в офицеры вольноопределяющегося. Из лавочников. Да-с. С отчимом мы сразу не сошлись. Не знаю и по сей день, что решило дело: молодой мой гамлетизм или... Не знаю. Но кончилось тем, что он поднял на меня руку. И вот двенадцати лет от роду я ушел из дома и зажил самостоятельно. Заметьте себе, без всяких средств к существованию. Бродяжничал, побирался, даже подворовывал, что греха таить. Потом попал посудомойкой на богатый речной пароход, добрался до Москвы.

И здесь повезло: взяли конюшениным мальчиком к одной выжившей из ума купчихе.

Короче говоря, очнулся я от своей мальчишеской гордыни бойцом Первой Особой кавдивизии в Казахстане. «Даешь, Васька Бучинский!»

В решающем сражении с басмачами Ибрагим-бека был тяжело ранен. Год провалялся по госпиталям, из армии меня списали.

И снова я в Москве. Пошел в Замоскворечье взглянуть на купчихин особняк. Цел. Купчихи и след простыл, конюшни сгорели, а в особняке общежитие. То есть, попросту говоря, занимай любую свободную комнату, воюй с крысами, чтоб тебя самого не сожрали, и живи как умеешь.

А как жить, когда без лошади я не человек?

Ходила в наше общежитие к дядюшке своему, подслеповатому зловредному старикашке, племянница, весьма симпатичная девица. Подкармливала дядюшку. Ну, и познакомились. Звали девицу Нина Михайловна. Была она рукодельницей, а значит, по возможностям того времени, модницей. Носила самодельную шляпку зеленого сукна – не иначе как с ломберного стола от дядюшки – и платье из старой выцветшей гардины, расшитой цветными квадратами и треугольниками.

По женской своей склонности Нина Михайловна сильно преувеличивала мои красноармейские заслуги и, видя мое нищенское существование, горячо взялась мне помочь.

Состояла она при специальной организации для общения с иностранцами – переводчицей. Английский знала, французский.

И вдруг приносит она мне известие, что открывается на Беговой конный манеж. Господам дипломатам европейским на досуге желательно верхом покататься. Требуется берейтор, то есть тренер.

Как-то даже и не верилось. Да еще паек дадут: хлеб, вобла, пшено... табак!

Меня оформили. Еще по штату полагался конюх, но такого пока не нашлось. Я оказался в единственном числе. И швец, и жнец, и на дуде игрец.

Конский состав был случайный и для верховой конюшни более чем странный: два строевых дончака, оба мерины, беззубый першерон и рысистая кобылка орловских кровей, серая в яблоках, нарядная и не художонная. Видно, реквизируемая у кого-нибудь из московских «лихачей».

Был октябрь, холод в манеже, доложу вам, могильный. Всеми правдами и неправдами, чудом просто, я добыл фураж, амуницию, поставил три буржуйки, натаскал дровишек, отремонтировал, как мог, денники.

С этими заботами я совсем перебрался в манеж. Ко мне приبلудился лохматый, похожий на тощего медвежонка пес. Мы с ним спали на сеннике и по ночам грели друг дружку.

На пшено из своего пайка я выменял пару поношенных сапог – левый жал немилосердно.

Теперь я считал себя готовым к приему гостей.

Нину Михайловну я после вступления своего в должность не видел. Рассчитывал поблагодарить ее в день открытия манежа. Накануне я не спал всю ночь. При свете коптилки латал свои невообразимые портки. А как только забрезжилось, натопил докрасна все три буржуйки, побрился в осколок зеркала, вынес стул на середину манежа, сел и стал ждать.

Открытие было назначено на восемь утра, а часов у меня, сами понимаете, не было.

Короче говоря, просыпаюсь оттого, что кто-то энергично трясет меня за плечо. Передо мной – Нина Михайловна, а с ней рослая какая-то дама, иностранка. По виду то ли шведка, то ли норвежка – словом, скандинавская внешность.

Обе смеются, а Мишка – пес мой – лает на обеих женщин неистово.

Нина Михайловна представила меня иностранке и назвала ее. Фамилия длинная и для русского рта абсолютно несъедобная. Хорошо, думаю, мне запоминать незачем.

Пока Нина Михайловна щебетала, я рассмотрел гостью. Молодая, лет двадцати, женщина, высокая, широкоплечая, в талии тонкая. На коротко остриженных светлых волосах кожаное кепи жокейского типа, щегольские бриджи с кожаными леями, сапожки. Лицо безбровое, с неярким румянцем, свежее и чистое.

Я спросил, знакома ли она с верховой ездой. Нина Михайловна перевела, что да. И снова защебетала с иностранкой.

Через полчаса примерно Нина Михайловна правильно угадала, что сегодня никто больше не придет, – мороз. Я подседлал дончака и вывел на манеж.

Иностранка умело собрала повод и легко перенесла через седло длинную, обтянутую штаниной ногу.

Ездил она недолго, но с видимым удовольствием. Остановил я ее только раз, проверить подпружные ремни. Когда, подойдя, поднял к ней взгляд, увидел снизу округлую линию подбородка, широкий вырез ноздрей и по-детски припухший рот с выступающей вперед верхней губой.

Сама Нина Михайловна наотрез отказалась учиться верховой езде. Все это время просидела у печки, налаживала дружбу с недоверчивым моим Мишкой.

В дальнейшем гостей у меня было немного, а постоянно ходила только первая эта иностранка. Дважды сопровождал ее какой-то тепло укутанный господин. Стоял, опершись на ветхий барьер, покуривал из длиннющего мундштука, наблюдал.

Она полюбила ездить на орловской кобыле, и Нина Михайловна переводила мне, что гостье нравится эта лошадь: рысь ее плавная, враскачку.

К Новому году мне выдали полушубок, и я считал себя самым счастливым человеком на свете. В конце февраля студеная, малоснежная зима пошла на убыль. Потянуло сырым, прачечным каким-то теплом, что по московским приметам означает скорый приход весны.

Кони по ночам шумно втягивали ноздрями воздух, отфыркивались, беспокоились. Кобылка вертелась в деннике, постукивая в деревянные переборки, заливисто ржала.

Мишка, сукин сын, пропадал весь день по оттаявшим помойкам. Приходил мокрый, грязный по брюхо, забывая благородные конюшенные запахи тошнотворной смесью псиного духа и помойной вони. Я наконец восстал против его вкусов, сгреб его, устроил ему собачью баню, израсходовав чуть не весь запас мыла, и посадил на привязь. В отместку мне он скулил и подвывал всю ночь.

Утром я поднялся со своего ложа из сена, налитый сонной слабостью, с тяжелой головной болью. Задал лошадям корм. Смотрел, как они окунают морды в ясли и жуют, жуют. И вдруг почувствовал отвращение. На Мишку с его мытыми лохмами вообще глядеть не мог – мучило. Надел бесценный полушубок, вышел на воздух.

Раннее утро, а уже жарко. Расстегнул полушубок. Шел куда глаза глядят. Ни о чем не думал.

Навстречу в проулок из-за угла со стороны Тверской выехал конный разъезд.

Вразной хлопаят копыта по грязи, колышутся пики. Впереди кто-то в серой длиннополой шинели. Ближе, ближе передний всадник. Фуражка с белым пятном кокарды, худое, небритое, бездонно усталое лицо. Отец? О господи! Ведь он же убит где-то там, в проклятой Галиции. Ах, все равно теперь.

Я побежал за лошадей, кричу: «Отец! Это я, я, Васька! Отец, я здесь!»

Но разъезд проскакал мимо. Я хочу догнать их – и не могу. Ноги по колено в зыбучем песке. Следы копыт перед глазами застилает песчаная наволока. Раскаленные песчинки колют щеки, лоб, скрипят на зубах. Как хочется пить! Кругом никого, я один. Но ведь кто-то подносит к моему рту холодную кружку. Я хватаю зубами скользкий жестяной край, тяну ледяную горькую воду.

«Подымите его!» – командует чей-то голос.

Это Женька, мой комбриг. Это наши. Наверное, я ранен. Но товарищи меня не бросят. Я плачу от радости. Сквозь слезы я вижу тесное городское небо и мокрое брюхо черной тучи, нависшее над желобом крыши. «Ага, – понимаю я, – это для меня. Сейчас из этой тучи польет дождь, я буду пить, пить, пить – бесконечно».

Туча опускается все ниже, ниже, накрывает меня, душная, как пуховик. А желоб крыши – это, оказывается, вовсе не желоб. Это я сам. Как я раньше не догадывался, что Бучинский – значит «желоб». Это смешно. И я слышу свой громкий смех.

И вдруг ужас охватывает меня. Ведь она не может полюбить желоб. Она такая прекрасная. Я вижу ее всю, как тогда, при первом знакомстве. Всю ее высокую, статную фигуру, тень от козырька на безбровом чистом лице с округлым подбородком и неяркими полными губами. Замирая душой, смотрю в ее глаза, тихие, тайные.

Она молчит и улыбается мне. У нее в углах губ веселые морщинки и розоватое пятно родинки в уголке глаза.

Как я люблю эту родинку, эти глаза, эти светлые яркие волосы, как я люблю эту женщину, ее – мою любимую, имя которой я почему-то не знаю.

Но я узнаю, я угадаю ее имя, и тогда... тогда...

Пришел я в себя в палате городской больницы. Был поздний вечер. Горела обернутая газетой тусклая лампочка.

От старухи-сиделки узнал, что меня подобрали на улице три недели назад. Брюшной тиф. Врачи думали, что я не выживу. В бреду, по словам старухи, я разговаривал с какой-то женщиной, рассказывал свою жизнь, плакал, смеялся.

– Как я ее называл? – спросил я сиделку.

– Не помню, миленький, – отвечала она, – может, и называл по имени, но не запомнила я. Любишь ты ее, как душу, через это и живой теперь...

Ночью, когда больница затихла, я поднялся с койки. Коленка стучала о коленку. Голова кружилась. Кое-как задрапировав одеялом казенные кальсоны, в растоптанных войлочных туфлях, пошел отыскивать выход. У дверей меня поймала сиделка. Я был так беспомощен, что, запротестуй она, я бы не смог оказать сопротивление.

– К ней идешь? – спросила старуха.

Я молчал.

– погоди, дурной. – Она проверила замок на двери и ушла.

Я думал – за врачом. Но старуха вернулась, принесла какие-то опорки и байковый халат.

– После возвернешь, – сказала она, – все возвернешь, а то меня тут подчистую разбужают.

Помогла мне одеться и открыла дверь. Так, серой байковой тенью, держась за стены домов и задыхаясь от слабости, я шел. Куда? В общежитие. Искать Нину Михайловну.

Без нее моя любовь была немая.

Уже светало, когда я вскарабкался по крыльцу и постучал в комнату ее дядюшки.

– Кто? – спросили из-за двери, и я узнал голос Нины Михайловны.

Я назвался. Дверь распахнулась. Я упал в темноту, в объятия Нины Михайловны.

– Василий Васильевич, Васенька, живой, – повторяла Нина Михайловна и вдруг заплакала.

Я тоже плакал от слабости и не мог выговорить ни слова. Дядюшка зажег свечу. Нина Михайловна вскрикнула и отшатнулась от меня.

– Халат на мне, – забормотал я. – Простите, я в больничном.

– При чем тут халат? Судя по вашей бороде, господин Бучинский, вы давно не любовались на себя в зеркало. – Дядюшка подтолкнул меня к разбитому трюмо и поднял свечу.

Бородатый скелет в сером балахоне таращился на меня из зеркала. Почему-то больше всего меня поразили огромные мои оттопыренные уши.

Потом за столом я жадно ел, а Нина Михайловна сидела напротив и торопливо рассказывала, как она перепугалась, когда я внезапно исчез, что думала и гадала о моем исчезновении, сколько слез пролила в отчаянные минуты и как не переставала надеяться.

Разыскать меня оказалось невозможным: мои документы остались в манеже, а то, что я внезапно тяжело заболел, никому не пришло в голову. Меня искали по моргам, но не додумались заглянуть в больницу.

– Вы выглядели таким крепким! – подытожила Нина Михайловна.

Таясь, я спросил, что в манеже.

– Не волнуйтесь, туда нашли конюха. – Нина Михайловна вдруг рассмеялась. – Получается комический парадокс!

Ведь иностранцам объявили, что вы больны. Соврали правду. Все перестали ходить, – сердце у меня екнуло, – кроме, представьте... – И я снова услышал длинную ее фамилию, теперь прозвучавшую музыкой.

Она дважды, нет, трижды ходила с Ниной Михайловной без меня в манеж, сама подседывала кобылу и гоняла ее кругами, вскачь.

– Лошадь делалась вся в этой... в пене. Потом, вообразите, попросила меня написать ей ваше имя на бумажке латинскими буквами. Ах, какая же я дура! – Нина Михайловна вскочила из-за стола, выдвинула ящик комода и суетливо порылась в нем. – Вот! – В руках у нее оказался узкий синий конверт. – Это она передала для вас. И, представьте, запечатала. Очень невежливо! Я бы все равно не стала читать, – сказала Нина Михайловна, покраснела и передала конверт мне.

Сердце колотилось так сильно, что я боялся, не слышно ли это Нине Михайловне. Надорвав конверт, я вытянул вчетверо сложенный листок и развернул. Буквы чужого языка косо бежали по бумаге, цепляясь друг за друга. Я молча протянул письмо Нине Михайловне.

– «Василий, – прочла Нина Михайловна. – Василий. Я уезжаю из России навсегда. Это придает мне сил признаться: я люблю тебя. Нам не суждено быть вместе. Я замужем. Мой муж – мой друг с детских лет. Я ничего не скрыла от него и умолила увезти меня. Прости, любовь моя. Прощай. Да хранит Бог нас обоих. Не забывай меня. Эва-Кристина».

Так я узнал ее имя.

Ложка в пустом стакане Бучинского тихонько вызванивала.

– Василий Васильевич, – набравшись храбрости, строго спросил Петя, – вы женаты?

– Дорогой мой! – Бучинский вынул ложку и положил рядом со стаканом. – Я уже год и четыре месяца как прадед.

Петя смутился.

– Вашу жену зовут Нина Михайловна? – Это спросил Фалеев.

– Нет. Ольга Сергеевна. – Бучинский засмеялся. – Ну-с, молодые люди, по коням!

Петя категорически настоял, чтобы Василий Васильевич остался на его месте, внизу, а сам лихо запрыгнул на верхнюю полку.

Он быстро разделся, переложил подушку от окна к противоположной стенке, лег и стал смотреть, как Фалеев, сопя, стаскивает со своей широкой спины свитер и никак не может высвободить голову из узкого ворота. Наконец Фалеев улегся, снял часы и, взглянув на циферблат, заметил:

– Два часа осталось поспать, – и отвернулся лицом к стенке.

Колеса монотонно стучали на стыках рельсов, будто твердили одно и то же, одно и то же... И Петя незаметно для себя уснул.

Он не слышал, как в купе постучалась проводница, как его будили, как по радио передавали новости дня, а потом простуженный голос объявил: «Наш скорый поезд “Красная стрела” прибывает в город-герой Ленинград», – и зазвучал марш.

Петя проснулся, когда состав уже стоял у перрона. Купе заливал яркий утренний свет. Бучинского в купе не было. Фалеев, с заспанным, припухшим лицом, готовый к выходу, возился с непослушным замочком своего «кейса».

Снаружи в окно постучали, и Петя увидел женщину, чем-то неуловимо похожую на Лизон, только помоложе, в таком же замшевом пальто, и почему-то бросилось в глаза, что серьги у нее не массивные, а просто два маленьких золотых шарика.

Женщина улыбалась Фалееву и как-то неуверенно махала рукой, приветствуя.

– Проснулся? – буркнул Фалеев, перехватив Петин взгляд. – Ну, пока. – И, щелкнув замочками, Максим Фалеев стремительно вышел из купе.

Петя видел в окно, как он подошел к молодой женщине, крепко взял ее под руку и увел.

Петя потер пальцами глаза, спрыгнул с полки, торопливо оделся. Порывшись в карманах, прибавил монетку к мелочи, оставленной возле пустых чайных стаканов, распрощался в коридоре с озабоченной проводницей и вышел на перрон.

Ему показалось, что в конце перрона, у входа в здание вокзала, он заметил над негустой толпой седую голову Бучинского. Петя побежал догонять Василия Васильевича, стараясь не потерять из виду седую голову над толпой. Только на Невском проспекте, лавируя между прохожими, Петя настиг Бучинского. Но это оказался вовсе не Бучинский, а какой-то высокий, совсем незнакомый старик.

А Василий Васильевич томился в это время в билетном зале у касс предварительной продажи. Перед ним в той же очереди стояла девушка в светлом коротком плаще, из-под которого свободно спадала синяя в крупный белый горошек юбка.

Богатство военного атташе

Повесть начинается моя давняя фотопроба на роль графа Кромов, которого я мечтал сыграть в кино. Но, к сожалению, бдительные советские киноредакторы посчитали, что незачем прославлять на экране царского офицера, пусть даже и патриота России.

Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Я стал заметно старше моего героя, но все еще надеюсь увидеть его на экране, теперь уже в исполнении другого актера.

*Человеку, как и березе,
легче расти на родной земле,
и величайшим несчастьем для него
является потеря им корней
на своей родине...*

А. Игнатьев

Пролог

Пыльные, рыжие, выжженные солнцем сопки тянулись до самого горизонта. Гул беспорядочной орудийной стрельбы висел над этим безрадостным пейзажем. Измученный конь, масть которого невозможно было определить под густым слоем желтой пыли с проступающими темными пятнами пота, едва передвигал ноги, перебираясь с сопки на сопку. На коне сидели два молодых офицера. Их лица, одежда, сапоги тоже были густо запылены.

Временами на пути попадались тела убитых, присыпанные пылью, облепленные мухами.

Конь шарахался в сторону, грязная пена падала с повода. Передний всадник в фуражке поминутно останавливал коня и прислушивался к то приближающейся, то удаляющейся канонаде.

Второй сидел за седлом, обхватив своего товарища за пояс. Фуражки на нем не было, голова была обвязана широкой полоской бинта, на которую спадали пропыленные кудрявые волосы.

Первого молодого офицера звали граф Алексей Кромов, второго – Вадим Горчаков.

– Мы сбились с дороги, – сказал Кромов, – по-моему, наши где-то левее.

– Учти, фронт наш уже давно сломан, – отозвался Горчаков.

Кромов тронул коня. В клубах пыли конь стал спускаться по склону.

– Вот, допрыгались... мукденские стратеги, – сквозь зубы цедил Горчаков, – сукины дети...

Из-за сопки вышел пеший. Он размеренно шагал навстречу всадникам, полы длинной шинели пылили по дороге. Вот он поравнялся с конем: жилистый, бородатый, боевые медали побрякивают в такт шагам. В руке, как посох, винтовка, на штык которой насажено два караваевых хлеба. Солдат не глядел на офицеров и так прошагал бы мимо, если бы Кромов не окликнул:

– Куда идешь, служивый?

Бородач остановился. На запыленном лице светло и остро смотрели слегка прищуренные глаза.

– Домой иду, ваше благородие! В Тамбовскую губернию. Так что полк наш совсем разбили, я вот и решил, что пора кончать. – И зашагал дальше.

Горчаков провожал его взглядом, потом рванул кобуру, путаясь в револьверном шнуре. Кромов, крутанувшись в седле, поймал его руку.

Несколько секунд они пристально смотрели друг другу в глаза. Вдруг Горчаков часто заморгал, губы его покривились.

– Он ненавидит нас... – прерывающимся голосом твердил Горчаков. – Ненавидит... ненавидит... В чем мы виноваты перед ним, Алеша?.. Скажи... скажи...

Кромов, придерживая коня, глядел вслед бородачу.

Солдат размеренно шагал, пока совсем не пропал среди сопок.

I

Июль 1909 года. Генерал Томилин

За письменным столом, заваленным бумагами и картонными папками, сидел пожилой грузный мужчина с круглой седой головой, остриженной ежиком, в усах с подусниками «аля Скобелев». Алексей Кромов помещался в кресле для посетителей.

Уходящий с должности генерал Томилин сдавал дела вновь назначенному военному атташе России во Франции полковнику графу Кромову.

– Ну, вот... кажется, всё, – задумчиво протянул генерал. – Официальную передачу должностных бумаг можно считать законченной.

Томилин стал собирать листы и раскладывать их в папки.

– Позвольте, я вам помогу, ваше высокопревосходительство!

– Благодарю. Я все уложу сам, в последний раз. Чтобы вы чего-нибудь не напутали с самого начала. Вам еще с этими бумагами придется повозиться. Еще надоест. – Генерал неторопливо завязывал цветные тесемочки на папках. – А передоверить никому нельзя: личный архив военного атташе. Головой за него отвечаете, голубчик.

Томилин улыбнулся в усы.

От нечего делать Кромов в который уже раз оглядел кабинет военного представителя России в Париже: комнату, где ему предстояло провести не один год.

Письменный стол, три кресла: одно для хозяина, два для посетителей, шкаф, большой металлический сейф – вот и все, что составляло убранство этого кабинета. Еще был камин у дальней стены от окна.

«Надо будет стол поближе к окну передвинуть, – подумал Кромов, – и кресла поставить как-нибудь по-другому, без казенной образцовости...» Словно угадав его мысли, Томилин весело пробасил:

– Вы, полагаю, захотите мебель переставить по-своему. Но предупреждаю: от окна дует невероятно, у камина зимой угореть недолго. А кресла стоят именно так, как удобно посетителям.

Кромов расхохотался.

Стопка папок на столе росла.

– Скажите, Алексей Алексеевич, как долго приказ о вашем назначении во Францию был на высочайшем утверждении?

– Более года, ваше высокопревосходительство.

– Оставим официальный тон. Называйте меня запросто, по-домашнему. Мы с вашим батюшкой всю Русско-турецкую кампанию... Я вас еще ребенком помню.

– Хорошо, Аристарх Павлович.

– Да. Значит, более года, говорите. А знаете, почему так долго? Государю, полагаю, напомнили старую историю. Ведь батюшка ваш в свое время прямо высказал Александру Третьему свой взгляд на европейскую политику России. А царь ему на следующий день прислал собственноручную записку: «Взвесив нашу утреннюю беседу я пришел к убеждению,

что вместе мы служить России не можем. Александр». Вот так у нас бросаются честными патриотами, а потом любят за голову хвататься: «Людей нет!» – Генерал открыл сейф и стал укладывать туда пухлые папки. – Да... «Умом Россию не понять...» Мне во многих кампаниях довелось участвовать: за веру, царя и Отечество – ура! А русским себя до кончиков ногтей ощутил только на Шипке...

Генерал закончил с бумагами, достал из сейфа вороненой стали револьвер, бережно провел по нему ладонью:

– Именной. Сам Скобелев вручал перед солдатским строем. Царство ему небесное. Были когда-то и мы рысаками... – И опустил оружие в карман мешковатых штатских брюк. Захлопнул тяжелую дверцу сейфа, протянул ключи Алексею Алексеевичу. – Не дай бог потерять. – Обвел глазами комнату. – Ну, кажется, всё. В должность рекомендую являться в полной форме, при орденах. Это подтягивает сотрудников. Имеете боевые награды?

– Да, ваше... Аристарх Павлович.

– Прекрасно. В остальных случаях, если официально не предусмотрено, советую – в штатском. Высока честь носить мундир боевого русского офицера, так чтоб в чужих глазах не примелькался.

Томилин достал часы-брегет, нажал пружину:

– Так... Я уже, а вы еще не в должности. Имеем право, как два штатских господина, распить бутылку шампанского. Принимаете приглашение старого парижанина?

...Они сидели за столиком в маленьком уютном кафе на Итальянском бульваре.

– Я искренне любил вашего батюшку, – говорил Томилин, – знаю, как болезненно переживал граф Алексей Васильевич свою раннюю, вынужденную отставку. Знаю, что умер непримиренный... Чувствую по отношению к вам как бы отеческий долг.

Гарсон подал шампанское, наполнил бокалы.

– Я давно приметил это кафе, – продолжал Томилин. – Малолюдное, наши, русские, сюда не заглядывают. За границей двум русским людям для откровенного разговора лучше встречаться подальше от соотечественников. У нас в военной миссии, да и в посольстве все наушничают, доносят, подсиживают друг друга. Трудно постичь, отчего мы, русские, за границей один другого едим поедом. Все наши хорошие черты – напоказ иностранцам, а вся гадость – между собой. Поваришься в этом бульоне, и сам становишься ни то ни се. Послужите здесь с мое, сами убедитесь. Старайтесь, голубчик, любовь к Отечеству незапятнанной вынести из этой грязи. Да. Вот вы сейчас думаете: брюзжит старик, кокетничает цинизмом, а сам – полный генерал, награжден орденом и лентой Белого орла. А почему, позвольте вас спросить? А потому, что я в должности соблюдал доброе старое правило: дела не делай, от дела не бегай. Упаси вас бог инициативничать, изменять существующие порядки. Помните печальный пример отца вашего. Россия стоит беспорядком. Только терпение истинно. Только терпение. Иногда тяжело, конечно. Душа болит.

Генерал задумался, ушел в себя. Маленькие его глаза расширились и напряженно вглядывались во что-то далекое-далекое.

Со стороны бульваров ударила музыка духового оркестра. Выбрасывая ноги в парадном шаге, за оркестром промаршировал взвод солдат. Впереди дирижер ритмично подбрасывал высокий полосатый жезл, увенчанный конским хвостом.

– Неужели снова станем воевать, Аристарх Павлович? – спросил Кромов.

– Неизбежно. Все в этом мире стало продаваться и покупаться. Да. Большие деньги правят людьми. А большие деньги – это большая война.

Подошел гарсон. Томилин расплатился. Они поднялись из-за стола.

– Спасибо вам, Аристарх Павлович.

– Не за что. Дай бог, чтоб на пользу. Провожать меня завтра не приезжайте. Не люблю проводов.

Он перекрестил своего преемника, потом обнял и троекратно поцеловал.
– Прощайте, голубчик. Всего не переговоришь, не поминайте лихом. Старики болтливы. Ну, с Богом.

II

Январь 1910 года. По дороге из Жювези

По дороге из Жювези, маленького городка в окрестностях Парижа, катил закрытый автомобиль.

Прохожие попадались редко, хотя день выдался ясный, солнечный. Уже при въезде в город автомобиль обогнал группу велосипедистов, дружно накручивающих педали. Мелькнули лица мужчин, раздурянные морозцем и скорой ездой. Один из них что-то весело крикнул вдогонку автомобилю, изо рта вместе с возгласом вырвалось облачко белого пара.

И снова пустая лента дороги со светлыми пригородными домиками за рядами ветел вдоль обочин. Теперь дорога шла по берегу Сены. Проехав немного по набережной, автомобиль повернул влево, на Национальный мост. Зимой оживленное движение по реке прекращалось.

Ярко раскрашенные лодки и барки с торчащими мачтами теснились у крайних быков моста, как диковинные стада.

Какой-то человек, в одной жилетке, с непокрытой седой головой, пробирался к берегу по лодочным скамейкам, бережно неся под мышкой пятнистую кошку. Отсюда, с моста, открывался вид на один из южных, рабочих районов Парижа – Таре, район вокзалов. Над фасадами небольших старых домов с зеленоватыми ставнями возвышалась высвеченная солнцем, готически вытянутая колокольня церкви Нотр-Дам-де-ля-Таре.

Дальше просматривался купол собора Де-Грасе, и за этой панорамой в морозной дымке угадывался Большой город.

Автомобиль свернул направо и снова покатил по набережной.

У въезда на бульвар, прямо посреди мостовой, стояло такси с распахнутой дверцей, а возле – небольшая толпа.

Закрытый автомобиль поравнялся с такси и остановился.

Среди взволнованно переговаривающихся и жестикулирующих людей, по виду рабочих, в куртках и кепи, выделялась высокая женская фигура: маленькая меховая шляпа, вуаль, элегантная шубка, пышная муфта. Женщина заинтересованно разговаривала с кем-то, но со стороны, за спинами толпы, нельзя было рассмотреть ее собеседника. Видна была только рука в коричневой перчатке, сжимающая рукоятку руля над помятым велосипедным колесом.

– Наталья Владимировна! – окликнули из закрытого автомобиля.

Женщина обернулась.

Крупная сетка вуали не скрывала ее молодого, свежего лица с широко расставленными глазами.

Она сразу узнала голос звавшего ее, заулыбалась и быстро пошла к закрытому автомобилю.

Кромов, в наглухо застегнутом военном плаще и русской офицерской фуражке, шагнул навстречу ей с высокой подножки.

– Алексей Алексеевич... – Она протянула руку. Он быстро склонился к ее руке и встревоженно спросил:

– Что случилось?

– Ничего особенного, дорожное происшествие.

– Сломалось такси? Такое меццо-сопрано, как у вас, надо оберегать от простуды. Позвольте предложить вам мой автомобиль.

– Благодарю. Я сейчас не могу. – Наталья Владимировна оглянулась через плечо. – Представляете, какой-то тип обгонял наше такси на своем авто, наехал на велосипедиста и даже не остановился! Я все прекрасно видела! Велосипедист успел соскочить, но велосипед сильно пострадал. Велосипедист оказался наш, русский, представляете? Я ему сказала номер автомобиля, хочу быть свидетелем... Чему вы смеетесь, Алексей Алексеевич?

Она снова обернулась.

Толпа успела разойтись.

Около такси стояли только двое: какой-то смуглый человек в синей блузе и велосипедист.

Рука в коричневой перчатке по-прежнему крепко поддерживала за руль помятую машину. Велосипедист был одет, как одеваются все велосипедисты. Твидовый пиджак, брюки-гольф, заправленные в толстые шерстяные носки, грубые ботинки. Конец длинного шарфа переброшен через плечо. Кепи с широким козырьком, сдвинутое к затылку, открывало чистую и мощную линию высокого лба, рыжеватые усы и округлый подбородок смягчали резко выступающие скулы. На вид велосипедисту было лет сорок.

– Благодарю вас, – отчетливо выговорил он, обращаясь к Наталье Владимировне и неясно произнося букву «р».

– Вы не берете меня в свидетели? – Вопрос Натальи Владимировны прозвучал обиженно.

Велосипедист улыбнулся. Улыбка, открытая, простодушная, мгновенно изменила его лицо. Резкие, суровые линии округлились, от глаз разбежались веселые морщинки.

В его глазах, темных, жгучих, слегка раскосых, вспыхнул озорной огонек.

– Не обижайтесь, пожалуйста. Свидетелей у меня будет предостаточно.

– А как же вы... – Наталья Владимировна указала на помятый велосипед.

– Бог с ним, с велосипедом, – весело откликнулся велосипедист, – погода прекрасная. Это же прелесть для прогулки пешком!

Он притронулся рукой в коричневой перчатке к козырьку кепи, прощаясь.

Наталья Владимировна пересела в закрытый автомобиль.

Когда автомобиль обгонял рабочего в просторной синей блузе, который помогал велосипедисту везти помятую машину, то велосипедист, отвечая Наталье Владимировне, приветливо кивнул ей вслед.

Наталья Владимировна Тарханова – молодая русская актриса – сидела в закрытом автомобиле, откинувшись на упругую кожаную спинку сиденья. Кромов – рядом.

– Я ездила в Жювези смотреть авиаполеты. Это фантастика! Вы тоже ими интересуетесь, Алексей Алексеевич?

– Интересоваться новинками техники входит в обязанности военного атташе.

В окне автомобиля уже проплывали центральные улицы и площади города.

Потом велосипедист напишет сестре из Парижа: «Насчет велосипеда я думал было, что скоро получу вознаграждение, но дело затянулось. Сужусь. Надеюсь выиграть. Ехал я из Жювези, и автомобиль раздавил мой велосипед (я успел соскочить). Публика помогла мне записать номер, дала свидетелей. Я узнал владельца автомобиля (виконт, черт его дери) и теперь сужусь с ним (через адвоката). Ездить теперь все равно не стал бы: холодно (хотя зато хорошая зима, прелесть для прогулок пешком)».

*И подпишется: «Твой В. У.».
Владимир Ульянов¹.*

III

Сентябрь 1914 года. Накануне

Мальчишка-газетчик метался между прохожими и выкрикивал:

– Последние новости! Последние новости! Доблестные французские войска нанесли сокрушительное поражение проклятым бошам на реке Марне! Русские прорвали фронт на юго-востоке. Последние новости!

Заметив среди прохожих русского офицера, мальчишка устремился к нему.

– Купите газету, мосье! – И вдруг заорал на всю улицу: – Да здравствуют наши русские союзники! Да здравствует Франция!

Прохожие стали останавливаться. Образовалась небольшая толпа.

Офицер, улыбаясь, протиснулся сквозь толпу и скрылся за дверью Русской военной миссии.

Пятеро русских и двое французов прилежно трудились за своими столами, когда офицер вошел в комнату.

Служащие представительства оторвались от дел и, разглядев полковничьи золотые погоны, встали по стойке «смирно».

– Здравствуйте. – Вошедший оглядывал стоящих за столами мужчин. – Садитесь, садитесь, господа.

Нарядный полковник остановил свой взгляд на широкоплечем блондине в унтер-офицерских погонах, явно выделяющемся строгой военной выправкой, и двинулся к его столу.

– Скажите, пожалуйста, полковник граф Кромов?.. – Рука, обтянутая белой замшевой перчаткой, повисла в воздухе в направлении к двери в кабинет атташе.

– Так точно, ваше высокоблагородие.

Полковник с улыбкой снова обратился к унтер-офицеру:

– Мне ваше лицо кажется знакомым...

– Так точно. Унтер-офицер ее императорского высочества Восьмого уланского Вознесенского полка – Полбышев!

– А... – протянул полковник приветливо, но сразу было ясно, что он так и не припомнил ничего. – Садитесь же, господа, – повторил он и отошел от Полбышева.

Алексей Алексеевич Кромов, в наброшенной на плечи шубе, водил пальцем левой руки по бесконечной колонке цифр на листе бумаги, а правой щелкал костяшками больших канцелярских счетов. Он был настолько погружен в свое занятие за заваленным бумагами столом, что не заметил, как дверь в кабинет приоткрылась и заглянул нарядный полковник.

Кромов трудился, а гость рассматривал его, и по лицу гостя бродила улыбка.

Кромов поднял голову и сразу увидел гостя. И тогда гость тихонько запел:

Ласки не жди от далекой отчизны,
Слез за Мукден иль хвалы за Артур.
Встретят упреки тебя, укоризны,
Старый маньчжур, старый маньчжур.

¹ Подлинное письмо В. И. Ульянова от 1910 года.

Последние слова они пропели вместе, и гость ступил в кабинет. Крепко, дружески обнялись.

– Алексей, почти седой...

– Французы говорят: ничто так не старит, как годы. А мы говорим: седина в голову – бес в ребро.

– Ой ли? Что-то обстановка для беса самая плачевная. Кто бы мог подумать, что Алексей Кромов превратится в канцелярскую крысу.

– В седую канцелярскую крысу. А ты, Вадим, ничуть не изменился.

– Ты думаешь? Ну уж так и быть, у полковника Горчакова нет тайн от военного атташе. И гость снял фуражку. Между взбитых кудрявых висков открылась лысина.

– Куда ж ты кудри дел? – Алексей Алексеевич в комическом ужасе всплеснул руками.

– Вот вились, вились и все вывелись. А ты что закутался, как эскимос?

– Мерзну!

– А камин на что?

– Дымит, черт. Мы уж не раз угорали.

– Ничего удивительного. Париж. Приедешь – угоришь.

– Угар – это ерунда. Сумасшедшие изобретатели замучили совсем. Сегодня один с утра явился с визитной карточкой от моей жены. Изобрел беспламенный порох. Представляешь? Высыпал мне на стол какую-то пакость и поджег. Уверял, что не загорится. Еле всем представительством потушили. Сколько раз просил Лиз не посылать ко мне всяких идиотов!

– Мадам Кромова по-прежнему неотразима?

– Сам увидишь. Каким попутным ветром тебя к нам занесло?

– Это военная тайна.

– Значит, ты ко мне по делам.

– Да. Штаб Верховного командования...

– Пойдем поговорим. Я знаю одно подходящее местечко. Принимаешь приглашение старого парижанина?

... Они сидели в кафе на Итальянском бульваре, за тем же столиком.

– Когда началась эта всемирная бойня, я утешался тем, – волнуясь, признавался Алексей Алексеевич, – что если здесь, за границей, мне трудно, то хотя бы дома, в России, меня понимают.

– Нет, Алексей. – Горчаков быстро заговорил, понизив голос: – Прошное позорное поражение их ничему не научило. Дальше парадных маневров в Красном Селе они не мыслят. А Распутин торгует Россией, как цыган на конской ярмарке.

– Если бы это не ты говорил, Вадим, я бы усомнился. Сердце отказывается верить. Неужели ни у кого не останется мужества раскрыть глаза государю?

– Древние говорили, что если боги хотят наказать кого, то лишают разума. Государь слабоумен... России нужна твердая власть.

– Где же выход?

– Ты, Кромов, – наш, с тобой я могу быть откровенен. Необходим парламент, конечно под нашим контролем. У нас сильная партия, мы надеемся победить. Либеральные толсто-сумы тоже организовались в партию, но с ними можно поладить, если не захлестнет слева. Вся Россия теперь распалась на партии.

– Давно известно, где соберутся трое русских, сразу же возникают четыре политические партии.

IV

Октябрь 1917 года. Благотворительный концерт

Посол Временного правительства в Париже Маклаков устроил благотворительный концерт в здании посольства.

Была приглашена знаменитая в Париже русская певица Наталья Тарханова. Перед началом концерта дипломаты, их жены, приглашенная актриса, ее аккомпаниатор и два именитых французских гостя коротали время за беседой и коктейлями.

Кромов остановился у окна, отвел рукой складки шторы. Над ночным затемненным Парижем черным скелетом высилась громада Эйфелевой башни.

Внезапно вспыхнули лучи прожекторов. В их перекрестье повисла светло-желтая масса в форме толстой сигары.

– Смотрите – цеппелин! – Наталья Владимировна Тарханова придерживала рукой штору. – Неужели снова будут бросать бомбы?..

Из-за ее плеча выглядывал молодой дипломат, начальник протокола, которого здесь запросто звали «милый Жорж».

Цеппелин поплыл, стараясь выскользнуть из слепящих лучей, сопровождаемый белыми облачками разрывов шрапнели. Выскользнул. Прожекторы, пошарив в небе, погасли.

– Вы, граф, согласны с Мопассаном, что Эйфелева башня давит Париж своей пошлостью? – важно спросил «милый Жорж».

– Не согласен. Очень удачное сооружение для установки пулеметного гнезда против вот таких цеппелинов, – ответил Кромов.

Наталья Владимировна смеялась.

– Я забыл, что спрашиваю военного атташе, – пробормотал «милый Жорж» и отошел к гостям.

– Алексей Алексеевич! – Актриса смотрела на Кромова своими широко расставленными посерьезневшими глазами. – Жорж сейчас сказал мне под страшным секретом, что вы оставляете свою должность и возвращаетесь в Россию... Я... Я не хочу этому верить...

– Дамы и господа, – торжественно возгласил посол Маклаков, приняв от лакея бокал, – я рад, что наш благотворительный концерт в пользу вдов и сирот русских солдат, погибших при защите прекрасной Франции, проходит в дни, когда Временное правительство России, которое я имею честь представлять, призывает наш народ к войне до победного конца. – И, картинно отставив локоть, пригубил из бокала.

Гости последовали его примеру.

Кромов произнес, обращаясь ко всем:

– Вы не находите, господа, что в сочетании слов «Временное правительство» для русского уха есть что-то комическое?

Маклаков побагровел. Он пригладил на висках и без того заглаженные редкие волосы и сказал с наигранным упреком:

– Побойтесь Бога, Алексей Алексеевич! Мы не одни, здесь наши гости, союзники...

– Вы имеете в виду барона Манжена? – Кромов вежливо поклонился в сторону толстощекого немолодого француза с угольно-черными нафабранными усиками, который расположился в креслах рядом с женой Кромова, красавицей Елизаветой Витальевной. – Этот ваш гость не понимает по-русски. А мосье де Гринье – мой коллега по обеспечению союз-

ных армий – по-русски понимает и знает, что мы, русские, обычно засекречиваем то, о чем узнаем последними.

Худощавый, подтянутый де Гринье озорно улыбался Кромову.

– Тогда позвольте вас спросить, – Маклаков все еще старался сдержаться, ему с трудом это удавалось, – зачем вы все это говорите, для кого?

– Для вас, представителей Временного правительства в Париже. Мой предшественник, передавая дела, произнес напутствие. Чтобы служить России, сказал он, необходимо соблюдать только одно правило – ни в чем никогда не проявлять инициативы: «Дела не делай, от дела не бегай». А я сдуру этому напутствию не следовал. Господин Керенский настаивает на моей немедленной отставке с поста военного атташе. И тут же истерическая телеграмма: Керенский просит, умоляет меня не покидать пост во имя Родины. Вы думаете, что он оценил мою многолетнюю инициативу на этом посту? Нет. Просто ему доложили, что в зарубежных банках двести пятьдесят миллионов золотом на русские военные заказы и эти деньги можно получить лишь за моей личной подписью. Господин Керенский с легким сердцем перечеркнет все мои усилия во имя России, как только получит всю сумму. Но для этого я должен быть убежден, что передаю военные кредиты в надежные, а не временные руки. А пока... – Кромов оглянулся.

На пустом светлом пространстве стены между ребристыми пилястрами проступал большой темный прямоугольник. Уродливый толстый крюк торчал над верхним краем темного пятна.

– А пока вы, господа, сняли портрет государя и не знаете, что повесить взамен.

– А что вы предлагаете, Алексей Алексеевич?

– Ну, хотя бы зеркало. Как-никак, господа, вы на сегодняшний день представители новой власти. Вот бы и отражались временами в зеркале.

– Это контрреволюция, – определил советник.

– У нас просто разное представление о революции, господин советник. – Кромов даже не удосужился повернуть голову в его сторону. – Мой отец говорил, что настоящая русская революция будет тогда, когда народ пойдет с топориками. А тогда, насколько я понимаю, никому из нас не поздоровится.

Если посол багровел, то советник побледнел.

– Вы играете с огнем, господин полковник.

– Мне не привыкать. Я – военный.

Посол счел нужным вмешаться:

– Вы сгущаете краски, граф. В России высоко ценят ваши выдающиеся заслуги. Ваша честность...

Кромов не дал ему договорить:

– Неужели у нас уже пришли к такой катастрофе, что честность является заслугой?

– Господа! – Жена Кромова как бы нехотя поднялась, соболий палантин сполз в кресло, открыв покатые матовые плечи. – Господа, мы собрались слушать музыку, а ты, Алекс, вечно затеешь какие-то скучные споры. Я женщина, мне нет дела до вашей политики... Это невыносимо, в конце концов. Для женщины всегда прав тот, кто умеет ухаживать за ней, проявлять внимание. А русский он, француз, англичанин или... мне решительно все равно.

Мужчины рассмеялись, кое-кто из дам заплодировал.

– Шарман, шарман!

– Русские мужчины так утомительны, – капризно пожаловалась она по-французски. И снова по-русски: – Одна мадемуазель Тарханова, кажется, слушала тебя, Алекс, и то из вежливости.

Наталья Владимировна смутилась.

– Может быть, не только из вежливости, – игриво предположил молодой начальник протокола. – Граф – красивый мужчина.

– Правда? – Мадам Кромов умело разыграла удивление. – Вот сразу заметно, милый Жорж, что вы мало разбираетесь в женской психологии. Впрочем, когда Алекс в военной форме, я ему многое прощаю...

В гостиную ступила новая фигура. Смокинг сидел на фигуре безупречно.

– Господин посол, – произнесла фигура бесцветным голосом, – прикажете начинать?

Все поднялись и двинулись к выходу.

На рояле – высокий бронзовый канделябр о шести свечах. Второй такой же поставили на пол, с краю маленькой эстрады, у ног певицы. Наталья Владимировна, опираясь правой рукой на крышку рояля, склонилась в поклоне. Небольшой зал, из которого сыпались аплодисменты, тонул в темноте. Наталья Владимировна выпрямилась, приготовилась. Она хорошо представляла себе, что очень эффектно выглядит в темном под свете свечей, и порадовалась, что выбрала для концерта это красное бархатное платье.

Кто-то в темном зале кашлянул, наступила тишина.

Наталья Владимировна кивнула аккомпаниатору.

Утро туманное, утро седое...

Ослепленная светом свечей, она не видела, как между стульями к послу пробрался безликий человек в смокинге и что-то шепнул на ухо. Посол пошептался с советником. Шепот зашелестел по рядам от кресла к креслу. Мужчины стали подниматься и покидать зал.

За ними потянулись дамы.

Зал быстро пустел.

Наталья Владимировна пела:

Вспомнишь и лица, давно позабытые...

Что за шум из зала?

Она продолжала петь, и вдруг рояль умолк. Аккомпаниатор, привстав над стулом, вглядывался в темноту зала. С грохотом что-то упало, наверное стул.

Наталья Владимировна шагнула к самому краю маленькой эстрады, загораясь ладонью от света свечей.

– Что происходит? – прекрасным голосом, каким пела, спросила она. – Дайте свет.

Шум стих. Люстра осветила зал. В боковых дверях мелькнул чей-то черный смокинг и исчез. Маленький зал был пуст. В центральном проходе лежал стул.

Почти в центре третьего ряда одиноко сидел Алексей Алексеевич Кромов.

– Что случилось? – Наталья Владимировна растерялась. – Пожар?

– Не пугайтесь, Наталья Владимировна, – ответил Кромов. – Пожар, но очень далеко. В России.

V

Ноябрь 1917 года. Полбышев

Полковник Алексей Алексеевич Кромов обычно являлся на службу раньше всех своих сотрудников, но в это осеннее ненастное утро он сильно запаздывал. Впрочем, его сотрудники, которые в этот час, как правило, уже трудились каждый за своим столом, перебрасы-

ваясь короткими репликами исключительно по делу, в это утро за свои рабочие места так и не сели.

Они сгрудились вокруг пожилого бухгалтера, который им что-то неумоимо объяснял, поминутно сдвигая на лоб очки в железной оправе и тыча пальцем в исписанный цифрами лист, который он держал перед своим носом.

Только один человек не участвовал в этом обсуждении. Человек этот был унтер-офицер Георгий Иванович Полбышев.

Нельзя сказать, чтоб его совсем не интересовало происходящее в комнате. Время от времени он поднимал свое курносое лицо от бумаг, которые прилежно просматривал, и косился в сторону сотрудников, прислушиваясь к их разговору.

Тогда до него доносилось:

– В одном только Банк-де-Франс сто двадцать пять миллионов! С ума сойти! – вскрикивал штабс-капитан Шабашников, хватаясь за пушистую бородку. – Да это же...

– Господа, давайте споем, господа, – совсем некстати предлагал коллегам бравый поручик Чоб, который с утра где-то «клюкнул». – Что-нибудь трогательное...

На него зашикали – и снова совещаться:

– Ведь надо же решать, как преподнести...

И опять бухгалтер бубнил свое, тыча в цифры на листе.

Полбышев ерошил светлые, выгоревшие свои волосы и углублялся в дела.

– Хорошо, что его сиятельство штата не раздувал, а то бы... представляете? – тарачил глазки прапорщик Кока Лещинский.

– Куда это французы сбежали? – пьяно недоумевал поручик.

– А при чем тут французы? Ихней доли тут нет, – категорически заявлял Шабашников.

И снова бухгалтер: «бу-бу-бу», «бу-бу-бу».

Полковник Кромов вошел в комнату внезапно. Сотрудники бросились по своим местам и вытянулись по стойке «смирно».

– Здравствуйтесь, господа. – Алексей Алексеевич снял шляпу.

Сотрудники впервые видели его в штатском: серое пальто с бархатным воротничком, брюки, ботинки.

– Здравия желаем, господин полковник, – нестройно ответили сотрудники.

– А почему наши французские коллеги отсутствуют? – осведомился атташе.

– Не могу знать, господин полковник. Не явились, – как старший среди сотрудников по чину, ответил штабс-капитан Шабашников.

– Не явились, – зачем-то повторил Кромов и посмотрел на подкладку своей шляпы, словно искал там ответ.

– Позвольте обратиться, ваше сиятельство. – Бухгалтер явно волновался, очки сползли на самый кончик носа.

– Обращайтесь... – Кромов продолжал разглядывать подкладку шляпы.

– Вы в штатском по каким-нибудь веским причинам или просто так?..

– По причинам. – Кромов высоко поднял голову и обвел взглядом своих сотрудников. –

Сегодня, господа, официально подтверждено известие, что новое большевистское правительство России, разорвав союзнические обязательства, вышло из войны. Отсутствие наших французских коллег показывает, что французское командование отозвало своих сотрудников. Для нас это означает, что мы больше не существуем как учреждение. Я не могу оставить своей должности военного атташе России, пока не буду знать, кому мне сдать дела и военные суммы. Прошу вас подготовить бумаги по своим отделам и передать мне в архив. Это займет у вас не больше часа. После можете считать себя свободными, господа, и действовать по своему усмотрению.

Алексей Алексеевич твердыми шагами пересек комнату и, переступая порог своего кабинета, обернулся. Будто хотел что-то сказать своим сотрудникам. Все стояли навтыжку, задержав дыхание. Им показалось, что в глазах Кромовых блеснули слезы. Он молча шагнул в кабинет и притворил за собой дверь.

Сотрудники некоторое время еще стояли навтыжку и вдруг, словно очнувшись, дружно устремились к бухгалтерскому столу. Все, кроме Полбышева. Он опустился на стул и занялся бумагами.

Но дверь в кабинет, скрипнув, приоткрылась, и сотрудники снова замерли.

– Глеб Ипполитович, – обратился Кромов к бухгалтеру, – представьте мне общий итог, чтобы я мог выдать сотрудникам последнее жалованье.

Кромов плотно закрыл дверь в кабинет, подошел к камину, поворошил обгоревшие поленья. Вернулся к столу, стал быстро просматривать бумаги, раскладывая их на две стопки. Потом левую, большую, отнес к камину, уложил на дрова и зажег. Пламя вспыхнуло, сухие дрова занялись быстро.

Алексей Алексеевич пододвинул ногой стул к шкафу и стал просматривать бумаги в папках, которые он вытаскивал с полок и складывал на стул. В камин полетели новые кипы листов. Огонь разгорался, потрескивали дрова.

Кромов сидел у стола и курил. Дверцы шкафа были распахнуты, полки пусты. Перед ним на столе лежали всего две папки, туго перевязанные тесьмой. Камин догорал.

Вдруг Алексей Алексеевич торопливо загасил папиросу, подошел к сейфу, повернул ручку замка, потянул на себя дверцу.

Из глубины сейфа достал тяжелый, вороненой стали пистолет. Держа его в руке, провел ладонью вдоль ствола. Сел, не выпуская оружия, о чем-то глубоко задумался. Потом резко поднялся, отдернул занавеску на стене. Некоторое время, не двигаясь, разглядывал испещренную синими и красными линиями карту военных действий, положил на стол пистолет и сорвал карту со стены. Запихал ее в камин. Смотрел, как язычки пламени медленно выбиваются где-то в районе Карпатских гор.

В дверь деликатно постучали.

Стук повторился громче, настойчивей.

Дверь приоткрылась.

Кромов резко обернулся и встретился глазами с Полбышевым. Некоторое время они пристально смотрели друг на друга. Полбышев отвел глаза. Алексей Алексеевич проследил его взгляд. Полбышев заметил пистолет на столе.

– Простите, господин полковник, – сказал Полбышев хрипло, – тут техническая документация. – В руках у него была увесистая папка.

Он ступил в комнату и, прижавшись спиной к двери, затворил ее.

Кромов подошел и взял папку из рук Полбышева. Но тот не сразу ее выпустил. Глаза их встретились.

Пока Кромов увязывал папку с двумя оставшимися, Полбышев, нагнувшись над столом, прочел надпись на медной дощечке рукояти пистолета вслух:

– «Поручику Кромову Алексею Алексеевичу за храбрость, проявленную в деле под Ляояном». Разлюбили поручика Кромов, господин полковник? – спросил Полбышев.

– Глупости говоришь. – Алексей Алексеевич взял со стола пистолет, сунул в карман брюк, отвернулся к окну.

Полбышев не уходил.

– Иди, Георгий Иванович, – тихо попросил Кромов, не оборачиваясь.

Полбышев двинулся к двери. Его остановил голос Кромов:

– Отвоевались за веру, царя и Отечество. Кончено.

Лицо Полбышева стало суровым, жестким.

– Рано нам прощаться, Алексей Алексеевич. Что, немец Россию покорил или японец? Русские там. Русские. Такие же, как вы да я. А где наша не пропадала?

Он подождал ответа. Кромов молчал. Полбышев вышел.

Когда Полбышев вернулся в комнату сотрудников, бухгалтер Глеб Ипполитович спросил его:

– Вы ведь, Георгий Иванович, с господином полковником еще в Маньчжурскую кампанию вместе служили?

– Так точно, – ответил Полбышев. – Имел честь быть вестовым Алексея Алексеевича. Сотрудники во главе с бухгалтером обступили Полбышева.

– Так как он отнесется к нашему предложению? – вкрадчиво спросил бухгалтер.

– Банковские суммы между нами поделить? – Полбышев почесал за ухом, наморщил лоб.

– Ведь нам отчитываться теперь не перед кем. – Бухгалтер потер очки и водрузил их на место. – Деньги, так сказать, пропадут зря... Учитывая беспорочную службу, так сказать... Коллегиально, конфиденциально... совершенно секретно... А?

– Совершенно секретно, говорите? – Полбышев подкрутил усы. – Если вас интересует мое мнение, господа, то я вам так скажу: даже начинать такой разговор с господином полковником не советую! Его сиятельство человек, конечно, душевный, но...

– Плевать я хотел на тонкости, – прервал его штабс-капитан Шабашников. – Трибуналу теперь не предадут, кончился трибунал. На дуэль тоже не вызовет. Ну, накричит, в крайности. Решайтесь, господа.

– Если вы такой решительный, вы и доложите графу, – предложил Кока Лещинский. – А мы поддержим.

– Не в деньгах счастье, – радостно сообщил поручик Чоб.

– Нашел время нализаться, – огрызнулся Шабашников.

– Меня, господа, увольте. – Полбышев улыбнулся. – Вам больше достанется.

– Вы не шутите?

– Никак нет. – Полбышев нахмурился.

– Ну, я иду, господа. – Шабашников застегнулся на все пуговицы, одернул мундир.

– С Богом. – Глеб Ипполитович перекрестил штабс-капитана.

Шабашников подошел к двери в кабинет атташе, решительно постучал, вошел и притворил за собой дверь.

Сотрудники в комнате замерли, затаили дыхание. Но из-за массивной двери не долетал ни один звук.

Бухгалтер на цыпочках подкрался к двери и уже хотел приложиться к ней ухом, как створка раскрылась и штабс-капитан Шабашников возник на пороге. За ним виднелся Алексей Алексеевич, который держал его за шиворот. Так, за шиворот, Кромов стремительно проволоком Шабашникова через всю комнату и, отворив ногой входную дверь, с силой толкнул в нее ретивого капитана. Тот полетел вниз, считая ступеньки.

Два французских офицера дружно расступились на лестнице, давая капитану дорогу.

Полковник Кромов стоял в распахнутых дверях. Французы отдали ему честь.

– Мосье Кромов! – четко доложил один из офицеров. – Господин полковник! Господин военный министр просит вас прибыть к нему на срочное совещание. Немедленно. Автомобиль у подъезда.

VI

Дружеское предложение

Военный министр поднялся из кресла, обошел свой внушительный письменный стол и, улыбаясь, протянув Кромову обе руки, двинулся ему навстречу.

– Здравствуйте, господин Кромов, – сказал министр. – Надеюсь, вы извинили мою настойчивость?

– Добрый день, господин министр.

Изящным жестом указав Кромову на кресло у стола, министр занял свое место.

– Надеюсь, очаровательная мадам Кромова здорова? Помнится, она говорила, что плохо переносит пасмурную погоду.

– Благодарю вас, господин министр. Погода в этом году действительно не из лучших.

– О да.

Помолчали.

– К сожалению, – сказал министр, – ничего нового о политической обстановке сообщить вам не могу. Ничего утешительного ни в настоящей ситуации, ни в прогнозах. Господин Кромов... – Министр замялся, подыскивая точные слова. – В течение последних лет мы встречались с вами как официальные лица. И должен заметить, что мне, как военному министру Франции, эти встречи всегда приносили глубокое деловое удовлетворение. И не только потому, что мы встречались как союзники. Вы меня понимаете?

– Надеюсь, что да, господин министр.

– Прекрасно! Теперь я хочу воспользоваться тем, что на вас нет военного мундира, и задать вам один вопрос, неофициальный. Вы разрешите?

– Сделайте одолжение, господин министр.

– Что вы собираетесь предпринять в ближайшем будущем? Вы лично, граф Кромов?

Министр откинулся на спинку кресла.

Алексей Алексеевич не сдержал тяжелого вздоха. Это не ускользнуло от внимания министра. Он тонко улыбнулся.

– Мне кажется, я понимаю ваше душевное состояние как военного человека и патриота, столько сил и способностей отдавшего ради победы общего нашего дела в эту кампанию, – мягко, с теплыми нотками в голосе сказал министр. – Скажите, вы намерены возвращаться в Россию?

– В ближайшем будущем, господин министр, это вряд ли возможно.

– Мы, французы, пережили не одну революцию. Может быть, именно этот солидный опыт, – продолжал министр, – дает мне сейчас моральное право принять участие в вашей судьбе. Вы начали свою службу в Париже в котором году?

– В девятьсот девятом.

– Восемь лет, восемь лет. Вы смело можете считать себя французом, граф. Более того – парижанином.

– Я польщен.

– Это не только мое мнение. Ваша многолетняя служба в Париже в качестве военного атташе не даром принесла вам высшую французскую военную награду – офицерский крест Почетного легиона. Так не льстят.

– Благодарю вас, господин министр.

– Друзья трудно приобретаются, граф, и их больно терять. Вы сейчас, без преувеличения, самый дорогой русский друг Франции. Мы не хотим, чтобы наша дружба, проверенная в боях, погибла по не зависящим от нас обстоятельствам.

Кромов посмотрел собеседнику прямо в лицо. Министр продолжал, улыбаясь:

– Я уполномочен французским правительством предложить вам, граф, мой полковник, перейти на службу во французскую армию. Это дружеское предложение и деловое. Ваши личные качества, ваш военный опыт дороги Франции, и, поверьте мне, мы сумеем оценить ваши достоинства.

Кромов сидел, глубоко задумавшись. Министр долго не прерывал молчания.

– Вы удивлены, мой генерал?

– Господин министр?

– Я не оговорился, французским правительством принято решение: в случае вашего согласия присвоить вам чин генерала французской армии. Одна ваша подпись, и вы приобретаете вторую родину, а Франция – рыцаря без страха и упрека.

Кромов и военный министр снова взглянули друг на друга. Министр перестал улыбаться и опустил глаза.

– Господин военный министр, – сказал Алексей Алексеевич. – Ваше предложение настолько неожиданно и серьезно, что я прошу дать мне время на достойный ответ.

Военный министр действительно неплохо узнал за эти годы русского полковника графа Кромова и понял, что разговор окончен.

Прощаясь, министр задержал руку Кромова в своей.

– Не забывайте, граф, – сказал министр, – что двери этого кабинета всегда открыты для вас.

VII

Апрель 1918 года. В Марсельском порту

Кромов широко шагал между горами грузов. Рядом с ним, безуспешно пытаясь попасть в ногу, семенил толстенький человек с пачкой квитанций в руках. Алексей Алексеевич уверенно выбирал путь в лабиринте узких проходов. Спутник его бормотал на ходу:

– Я не представляю себе, мосье, как вы остановите работающую на полном ходу машину. Это не так-то просто. Грузы с русским казенным добром будут прибывать еще полгода, не меньше.

Они вышли на грузовой причал. Раскачивались стрелы подъемных кранов, скрипели лебедки, росли на глазах штабеля грузов – огромных мешков и ящиков, на которых чернели таинственные значки таможенных и фирменных маркировок. Шла разгрузка. Под высоким черным бортом транспортера сутились рабочие-грузчики, цепляя к стреле крана очередной ящик. Слышались голоса работающих, долетал чей-то смех.

– Как я буду ликвидировать дело – это моя забота, мосье Морешаль. – Кромов следил за разгрузкой. – Если вы считаете, что грузы будут идти полгода, я вам выплачу жалование вперед за полгода. Продавать всё – решительно всё. Со складов, с причалов, а если транспорт еще в море – продавайте прямо в море. Деньги на мой счет в Банк-де-Франс. Какие вы хотите комиссионные?

– Э-э-э... мне кажется, что два процента, мосье...

– Будете получать пять.

– О мосье!

– При большой оптовой покупке уступайте не более одной трети.

– Я сделаю все, что в моих силах, мосье.

Кромов сунул руку за отворот пальто, вынул бумагу:

– Вот вам доверенность на право распродажи. Отныне вы, мосье Морешаль, – частное деловое лицо.

– Я оправдаю ваше доверие, мосье мой полковник. О господи! – Мосье Морешаль не мог удержать растерянную улыбку. – Кто бы мог подумать? Еще вчера...

– Алло, мосье Морешаль! – донеслось с транспорта.

Грузчики столпились у самого борта. Они были видны по пояс. Стрела с прицепленным к ней ящиком со скрежетом потянула груз на причал.

– Стой! Стой! – замахал руками один из рабочих. Ящик завис в воздухе. Грузчик крикнул:

– Мы знаем: мосье, который разговаривает с вами, – русский. Мы хотим его спросить.

– Спрашивайте, – отозвался Кромов.

– Что происходит у вас на родине, мосье? Мы тут спорим. Симон говорит, что ваши русские рабочие...

– У меня нет никаких сведений о том, что происходит в России, – прервал грузчика Кромов. Но тот не унимался:

– А Симон – это наш товарищ Симон Дарье, – вот он, он говорит...

Мосье Морешаль вдруг пришел в ярость.

– Симон Дарье? – заорал он. – Почему остановили разгрузку? Опять этот Симон Дарье?! Я вас всех оштрафую!

И мосье Морешаль трусцой побежал по трапу. Ящик дернулся и со скрипом стал удаляться от борта.

VIII

Май 1918 года. Гости из России

Солнечные блики дрожат и вспыхивают на рябой под ветром поверхности пруда. Мальчик медленно входит в воду осторожно ступает, нащупывая дно ногой при каждом шаге. Оступился, передернул узкими плечами, поймал равновесие. Потом повернулся назад всем корпусом. Оказалось, что у мальчика связаны руки. Обращенные внутрь ладонями, они связаны в запястьях несколькими обводами матерчатого пояска. Вытянув вперед связанные руки, лег на воду и поплыл прочь от берега, энергично работая ногами, выбрасывая из воды руки с растопыренными пальцами. Вода захлестывает его, летят, сверкая, брызги.

Мальчик ничего не слышит, кроме плеска воды и своего учащенного дыхания. Впереди, за накатывающейся толщей воды, он видит белый дом с флигелем, часть колоннады и крыльцо, у которого растут высокие кусты жасмина. Дыхание его учащается, становится хриплым. Вода закрывает белый дом, исказив пейзаж, как в кривом зеркале. Совсем закрыла.

Вот дом возник снова, на крыльце – высвеченная солнцем женская фигура в белом платье. Выбежала из дома еще одна женщина, потом маленький мальчик. Снова все исчезло, сквозь воду мутным пятном светит солнце.

И снова дом, какие-то люди бегут к воде, к нему, к пловцу. Впереди женщина в белом платье и белой косынке. Она далеко обогнала всех, подхваченный ее рукой край длинной юбки полощется на бегу...

– Алеша! – кричит женщина издали. – Алексей!..

– Алексей! – сказал голос Елизаветы Витальевны. – Да проснись же, Алекс...

Кромов лежал в гостиной на маленьком диване в неудобной, беспомощной позе. Он заснул одетый, успев снять только пиджак.

Проснулся, сел, провел ладонью по волосам, по лицу, с трудом приходя в себя.

– Прости, Лиз, – пробормотал он сонно, – мне сейчас приснилось...

– Я не умею угадывать сны. – Елизавета Витальевна была настроена решительно. – Но я хотела бы знать, правильно ли я поняла твой отказ от предложения военного министра?

– Отказ? Откуда ты узнала о моем отказе?

– К сожалению, не от тебя. Алекс, я тебя не понимаю. Я – твоя жена. Зачем ты сразу не доверился мне, почему я должна узнавать все от третьих лиц? Где мы теперь будем жить: в Америке? В Швейцарии? В Англии? Почему ты мне ничего не отвечаешь, Алекс?

Он внимательно изучал ее лицо, словно видел впервые.

– А почему ты думаешь, Лиз, что мы не можем остаться жить во Франции?

Она пожала плечами:

– Мне кажется, это неудобно. Ты уверен, что нас все поймут правильно? Французы – да, они практически люди. Но наши, русские... Русскими уже сейчас полон Париж, и я думаю, их здесь будет становиться все больше. Конечно, нам придется их поддерживать, тех, кто особенно нуждается, но зависть... Бог знает что начнут говорить, будут требовать у нас эти деньги. Нет, Алекс, во Франции оставаться невозможно, – заключила Елизавета Витальевна.

– Теперь я тебя не понимаю. – Он продолжал внимательно ее разглядывать. – Отказываюсь понимать...

– Я говорю о деньгах, которые теперь никому не принадлежат. Ведь получить их можешь только ты. Мосье Манжен сказал мне...

– Ах, мосье Манжен...

– Он наш друг, Алекс...

– Ваш друг, графиня.

– Ты ревнуешь? – Она кокетливо выпятила нижнюю губу. – Это так необычно... У меня гораздо больше оснований для ревности, однако я... Эта певичка... О! Какой грозный вид! Думаю, ты не станешь меня бить, как этого твоего офицера?

В дверях появилась молоденькая горничная:

– Извините, к вам гости, мадам.

– Гости? – Елизавета Витальевна поправила прическу. – Так поздно? Мы никого не ждем... – И вопросительно взглянула на мужа.

– Скажите, что нас нет дома, – буркнул Кромов.

– Я могу сказать, мосье. Но это ваши мать и брат. Из России.

Софья Сергеевна Кромова, величественная седая старуха, сдерживая рыдания, раскрыла навстречу сыну объятия:

– Алеша, все погубило... Алеша...

Младший брат Алексея Алексеевича, Платон, смотрел виноватыми глазами. На его лице застыло удивленное выражение.

Потом они засиделись за столом допоздна. Брат Платон то и дело подливал себе вино в большой бокал зеленого стекла.

– Мне все еще кажется, что я плыву, – признался Платон, вытирая усы салфеткой и подкладывая себе новую порцию. – Это не приведи господь, как нас с мама трепало в открытом море. Шторм – десять баллов!

– Не слушай его, Алексей, – сказала старая графиня. – Он все время преувеличивает. Капитан говорил – четыре балла.

– Вы, мама, тоже мне говорили, что я преувеличиваю, когда я вам доложил, что мужики в Кромовке заняли весь наш дом. – И к брату Алексею: – Мне староста успел написать. Ты

знаешь, кто теперь там всем заправляет у нас, в Кромовке? Артемка! Паршивец! Помнишь его?

– Подожди. Это кучерский сын, – сказал Алексей. – Рыжий?

– Именно, рыжий. – Платон подлил себе вина. – Вообрази только: сын нашего кучера – хозяин Кромовки, родового имения. Каково? – И удивленно поднял брови.

– Может быть, это ненадолго, – предположила Елизавета Витальевна.

– Ненадолго? Это вам так представляется здесь, в Париже. Помнишь, Алеша, отец наш говорил: вот когда народ пойдет с топориками...

– Это уже случилось в русской истории.

– Но чтобы армия была на стороне революции – так не было. Это, брат, не фунт шоколада. Я до сих пор не могу поверить, что мы здесь, у вас. Мне все это кажется сном. А помнишь, Алеша, как ты на спор переплывал пруд со связанными руками и чуть не утонул? Мне влетело, а тебе ничего не было. Мама тебя баловала.

– Опять преувеличение. Я Алешу никогда не баловала. Тебя баловала, ты – младший. Алексей Алексеевич улыбнулся:

– А помнишь, как ты произносил: свекла и клюква? Получалось: клёкла и клюкла.

– Не помню.

– А я помню.

– Что ни говорите, а нет кухни лучше французской. – Софья Сергеевна поднялась из-за стола. – Проводите меня, душечка, – попросила она Елизавету Витальевну, – а то я стоя усну.

Женщины ушли.

– Алексей, – сказал Платон, – я не хотел говорить при мама. В Петербурге, в Москве – повсюду аресты, расстрелы. Я как подумаю, что там у нас, в Кромовке, со мной что-то нехорошее делается, ей-богу... Что ты думаешь предпринять, когда вспыхнет гражданская война?

– А она вспыхнет?

– Фактически она уже началась. Я думаю, французы нас поддержат. И англичане.

– Интервенция? А чем будем расплачиваться?

– Россия велика... чем-то, конечно, придется поступиться... В одном я твердо убежден: или мы – или они. Третьего не дано.

IX

Июнь 1918 года. Разрыв с семьей

Софья Сергеевна Кромова водила Алексея Алексеевича и невестку по комнатам небольшой квартиры. Повсюду в беспорядке громоздились вещи, лежали распакованные чемоданы.

– Здесь будет гостиная, – сказала Софья Сергеевна. И к невестке: – Пойдемте, Лиз, я вам покажу, как я думаю обставить свою спальню.

Женщины вышли, оставив Алексея Алексеевича одного. Он подошел к столу, на котором были свалены фотографии в рамках, лежал толстый, в сафьяновом переплете семейный альбом.

Кромов открыл его с конца, стал перелистывать. Вот он сам в полевой форме поручика... Вот группа молодых прапорщиков в новых офицерских мундирах... опять он в кавалергардском крылатом шлеме...

... Вот белый дом с колоннадой, высокое крыльцо, кусты жасмина... Потом фотография молодой женщины в белом платье и белой косынке, а рядом с ней мальчик в матроске...

– Доброго здоровьица, Алексей Алексеевич, – прогудел глухой старческий голос. Старик с ворохом белья в руках остановился в дверях. Совсем седые, закрывавшие пол-лица усы топорщились в улыбке.

– Федор! – воскликнул Кромов. – Как же я рад тебя видеть, старый!

Он обнял старика, который бочком прижался к нему, не выпуская своей ноши.

– А уж я-то как рад, ваше сиятельство, – загудел Федор. – Евдокия Кузьминична моя все, бывало, любовалась на вас. Молодой, говорит, граф наш – голуба душа. Очень она вас обожала, покойница.

– Няня умерла? – У Алексея Алексеевича опустились руки. – Когда?

– Летошний год. Тихо так прибрал Господь.

– Что же мне ничего не написали?

– Где ж было писать, ваше сиятельство? Все кверху дном пошло. Ничего, скоро мы с ней свидимся, даст Бог.

– Что ты, Федор, зря Бога гневишь?

– Нет, Бога я уважаю. Он меня на трех войнах уберег. Только я – русский человек. Без ржаного хлеба долго не протяну... И какая здесь жизнь? Чужбина, известно, все чужое.

– Федор! – послышался голос Софьи Сергеевны.

Старик засеменил через комнату.

– Домой возвратитесь, так на могилку ее сходите. В церковной ограде погребли. Непременно сходите, ваше сиятельство. Очень она вас обожала.

– А если мне дома не бывать?

Но старик уже вышел из комнаты.

В этот вечер Вадим Горчаков был единственным гостем Кромовых. Кончили ужинать. Горничная убирала со стола. Подали кофе.

– Как видите, Вадим Петрович, – сказала старая графиня. – мы тут очень неплохо устроимся. И до Алеши совсем недалеко.

– Сегодня получено очень важное предписание Гран Кю Же. Просят меня освободить квартиру – отозвался Кромов.

– Почему? – Софья Сергеевна с недоумением смотрела на старшего сына. – Что это за Гран Кю Же?

– Главная французская штаб-квартира. Особняк я занимал как представитель союзной армии. Ну а теперь... – Алексей Алексеевич пожал плечами.

– Где же вы будете жить?

– Пока переберемся в какой-нибудь отель.

– С милым рай и в шалаше. – Елизавета Витальевна встала из-за стола и перешла в кресло в углу комнаты.

– Алексей, – проговорила старая графиня, – в последнее время от тебя слова не добьешься. Я хочу знать, как ты намерен дальше жить?

– У Алексея Алексеевича есть средства, – сказала из своего угла Елизавета Витальевна.

– Какие это средства по нынешним временам! – махнула рукой Софья Сергеевна.

– Большие. Очень большие. – Елизавета Витальевна точно рассчитала эффект. – Двести пятьдесят миллионов золотом.

Платон застыл с открытым ртом. Горчаков опустил глаза.

Старая графиня смотрела на старшего сына не мигая.

– Это правда, Алеша? – тихо спросила старая графиня.

– Почти правда. Правда, что двести пятьдесят миллионов, но неправда, что мои.

– Так чьи же? Объяснись.

– Да уж объяснись, пожалуйста. – Брат Платон обрел дар речи. – Такие деньги – не фунт шоколада.

Алексей встал, прошелся по столовой.

– Эти суммы, – начал он говорить с расстановкой, словно читал лекцию, – аккредитованы царским правительством на войну, на вооружение русской армии. Как военный атташе России во Франции, в союзной стране, я несу за них ответственность. Суммы эти распределены по различным банкам, в основном находятся в Банк-де-Франс. Я не стану вам объяснять, это долго и не нужно, каким образом сложилось так, что ни одного су нельзя получить без моей подписи. Вот и все.

Алексей сел и закурил.

– Так. Так. Так. – Платон старался осмыслить полученную информацию. – Государь отрекся. Временное правительство кануло в Лету. Так. Ты обязан отчитаться в этих суммах перед правительством Франции?

– Нет. Сам военный министр Франции подписал договор, по которому я единолично распоряжаюсь этими суммами. В то время это было выгодно французам, снимало с них всякие денежные обязательства.

– Так кому же они принадлежат?

– России.

Теперь поднялся Вадим Горчаков:

– Какой России? Той самой России, которую мы знали, любили, больше не существует. И ты это прекрасно понимаешь. Путь назад для нас отрезан. Мы не можем жить в раю для кучерских детей, жидов, дворников и кухарок. Да нам и не дадут там жить: нас там расстреляют, повесят только за то, что мы – это мы. Сегодня мы и нам подобные – все, что осталось от России. И если эти проклятые деньги принадлежат России – они принадлежат только нам.

– Нам! Мы! Нам!!! – Алексей вскочил. – Мы, Николай Второй!

– Замолчи! Ты присягал! Ты забыл про кавалергардский штандарт, перед которым мы приносили присягу, поклявшись защищать царя и Отечество до последней капли крови!

– Царя? Кто он теперь для нас?

Друзья встали друг против друга.

– Как бы мы судили солдата, покинувшего строй, да еще в бою? И что прикажешь думать о «первом солдате» Российской империи, покинувшем во время войны свой пост главнокомандующего, наплевав на то, что станет с русской армией? Уж на что жалкой фигурой казался мне всегда Павел Первый, но и тот нашел в себе мужество сказать в последнюю минуту своим убийцам, предлагавшим ему отречение: «Вы можете меня убить, но я все равно умру вашим императором».

Вадим закрыл руками лицо. Алексей закончил:

– Он сам освободил меня от присяги своим позорным отречением. А теперь ты хочешь, чтобы я бросился разворовывать солдатскую казну? Пусть этим занимается твой приятель, граф Бобринский.

– При чем тут Бобринский? – вступился Платон. – Не трогай его, он страдалец! Его большевики трижды арестовывали, реквизировали имущество. Оставили всего одну шубу.

– Всего одну шубу! Страдалец! Этот страдалец добился лично у государя подряда на партию патронов для русских винтовок. Сделал французам заказ по высочайшему повелению, через мою голову. Нажил миллионы. А патроны эти в русские ружья не лезли: калибр не подходил. Наши солдаты с его патронами в Галиции тысячами полегли. А он сам про это по всем парижским салонам рассказывал как о забавном конфузе, со смехом. В армии не знали, что это его, Бобринского, проделки, зато знали, что военный атташе в Париже я, полковник граф Кромов! Я его хотел здесь, в Париже, судить военным судом. Так он успел сбежать, подлец.

– Вот Артемка Рыжий его и повесит.

– И правильно сделает.

– И тебя рядом с ним.

– И поделом.

– И нас с мама! – заключил Платон.

Повисла тяжелая пауза.

– Но не все же так поступали, Алексей, – решила вмешаться Софья Сергеевна.

– Не все. Все воевали без патронов, умирали, защищая Россию, чтоб благоденствовали Бобринский et cetera.

– Ах, вот ты как заговорил! – Вадим презрительно сощурился. – Ничего, новые народятся. Рабье племя плодovitо.

– Один из таких рабов ради меня жизнью рисковал.

– Ну и получил за это унтер-офицера.

– Господин унтер-офицер! Господин полковник! Ваше высокоблагородие, ваше сиятельство! А мы испокон веку даже именами их не интересовались: человек, эй, человек! Это они – эти человеки – без патриотической болтовни, без парадов и пустого бахвальства веками считали себя должниками России. А мы – самозванные кредиторы! Я всю жизнь гордился, что выполняю свой долг перед Отечеством. А на самом-то деле был убежден, что Отечество у меня в долгу. Недостаточно ценит мои заслуги, задерживает звания, не продвигает по службе. Весной в Баден-Бадене, летом в Ницце, зимой в Альпах. Не перевели деньги из России? Должны были прислать! Должны, должны. И выходит, вся Россия у меня в долгу.

– Ты что же, в революцию играешь?! Ты... – Горчаков задохнулся.

– Революция, Вадим, это, конечно, страшно. А слабоумный самодержец, а его жена, а вор Гришка Распутин, торгующий родиной, – это не страшно? Это безнадежно страшно. Еще тогда, на фронте, а потом здесь, в Париже, среди политиканов, спекулянтов на солдатской крови, барышников всех мастей и рангов я так изуверился в наших идеалах, что хоть пулю в лоб! А революция – это по крайней мере надежда на лучшее, Вадим. Я не знаю, куда приду, но от чего ушел навсегда, я знаю.

– Алексею Алексеевичу предлагался чин генерала французской армии, – сказала Елизавета Витальевна. – Он отказался. Если ваш сын думает, что я буду счастлива разделить его нищенское существование, – он ошибается.

– Глупости, – сказала Софья Сергеевна. – Вы венчаны.

– Православие хорошо в России. Во Франции главенствует Католическая церковь. Я в любом случае останусь христианкой.

Софья Сергеевна, всплеснув руками, повернулась к невестке, но Платон вдруг всхлипнул, как ребенок, забормотал сквозь слезы:

– Алеша, брат... Я ехал к тебе... надеялся... Что же это, Алеша? Одумайся, брат... Одумайся. Ну, хочешь... хочешь, я на колени перед тобой стану?..

Он сделал попытку сползти с кресла на пол. Софья Сергеевна удержала его.

– Довольно! – Она повернулась к Алексею. – Пока еще я глава семьи, и последнее слово останется за мной. В нашем роду никогда не было казнокрадов. Кромовы всегда верно служили России, и им не пристало носить французский мундир. В этом я признаю твою правоту, Алексей. Но идеалы, в которых ты разуверился, которые презираешь, – это мои идеалы. Мне семьдесят два года, и поздно в моем возрасте меняться. У меня есть моя правота, и я требую, чтобы ты признал ее! Я прожила жизнь и умру графиней Кромовой. Для меня в революции нет надежды. Если старая Россия обречена Богом умирать здесь, в Париже, я хочу умереть вместе с ней. И ты не смеешь мне в этом мешать! – Последние слова она выкрикнула.

Горчаков стоял, отвернувшись к окну.

– Мама! – Платон протянул к ней руки.

– Помолчи! Самый трудный путь в жизни, Алексей, это путь к самому себе. Ты отвергаешь старую Россию, и она отвергнет тебя. Не жди от нее ни помощи, ни пощады... Ступай же. Ступай!

Кромов снял с вешалки пальто.

– Алексей! – Софья Сергеевна вошла в прихожую. Старое лицо ее было мертвенно-страшно. – Я все прощала твоему отцу, хотя никогда не понимала его мыслей... все вынесла: опалу, его ожесточение... Я любила его, терпеливо несла свой крест, оберегала вас, моих сыновей... Отец своей смертью освободил меня... И теперь ты, Алеша... Все снова... Я не могу... Не хочу... выше сил... Оставь нас... Прости. – Беззвучно шепча что-то сморщенными губами, она перекрестила сына, потянулась поцеловать его, но почему-то раздумала.

Он открыл дверь и вышел. Когда очень медленно спускался по лестнице, было слышно, как часы в доме бьют полночь.

Х

Июнь 1918 года. Голубой конверт

Кромов в очередной раз возвращался с марсельского причала. Темнело. В узком проходе из-за пирамиды ящиков навстречу ему выступил человек – котелок, узкий черный сюртук, черный сложенный зонт с массивной ручкой, черный портфель.

– Господин Кромов? – спросил черный человек.

Алексей Алексеевич остановился:

– С кем имею честь?

– Вы меня не узнаете?

Незнакомец уперся в лицо Кромова выпуклыми черными глазами.

– Извините, нет. Мы с вами встречались в России?

– Нет, в Париже, я работал в управлении у Цитрона².

– У...?

– У Андре Ситроена. Мы с ним оба одесситы, земляки. Фирма «Ситроен» выполняла ваши военные заказы, вы несколько раз посещали наше парижское предприятие.

– Чем могу быть вам полезен сейчас?

– Вы облегчаете мою задачу. В данный момент я представляю интересы не «Ситроена», а другой фирмы.

Незнакомец шелкнул замочком портфеля, извлек голубой конверт.

– Вы деловой и опытный человек, господин Кромов! Крупное акционерное общество, которое я в данный момент представляю, надеется видеть вас в роли управляющего. Дело вам знакомое – распределение военных заказов. Контракт здесь, любые поправки внесете сами. Кроме того, здесь два оплаченных билета на теплоход «Королева Виктория» до Нью-Йорка. Там вас встретят и отвезут в ваш новый дом: Сан-Франциско, Альворадо-стрит, 116. Теплоход отплывает раз в две недели из Бордо.

Незнакомец протянул Кромову конверт. Алексей Алексеевич взял.

– Вам приходилось бывать во Фриско?

– Нет, – сказал Кромов, – но я знаю одну песенку:

² Переехав во Францию, одессит Цитрон поменял фамилию на Ситроен.

Один молодой паренки
Соскучился жить одиноки.
И вот в город Фриско
К податливым киско
Спешит на свидание он...

Незнакомец приподнял котелок и быстрыми шагами стал удаляться.
– Передайте мой привет господину Ситроену, – бросил вслед ему Кромов.
– К сожалению, это невозможно. Французское правительство отказало ему в кредитах, и он умирает от кровоизлияния в мозг! До встречи во Фриско!
Выйдя из здания вокзала в Париже, Кромов взял такси.
Машина проехала через ночной, освещенный яркими рекламами город, выехала на набережную и свернула в узкую улочку.
За низкими оградами светились окна особняков.
Машина затормозила у тротуара. Алексей Алексеевич зашагал вдоль оград. Остановился у ворот одного особняка. Дом был залит огнями.
Кромов отступил в густую тень дерева. Из дома до него долетели пассажи рояля. Голос, знакомый голос Натальи Владимировны запел по-русски: «Нет, не тебя так пылко я люблю...»
Алексей Алексеевич слушал.
Потом раздались аплодисменты. В освещенном окне задвигались силуэты людей.
Кромов вышел из-под дерева и поспешил к своему такси.

XI

Июль 1918 года. Продажа коня

В жокейской Парижского отделения «Жокей-клуба», где по стенам в строгом порядке были развешаны уздечки, шпоры, хлысты и седла, на табуретке сидел одетый по всей форме профессиональный жокей, платный сотрудник клуба – англичанин, – и натягивал сапог. Рядом стоял Кромов.

– А кто покупатель, Бен?

– Он не назвал себя. По обличью – французский офицер. – Жокей мучился с сапогом. Сапог наконец сдался и налез на ногу. Жокей встал и притопнул.

Кромов достал часы, взглянул:

– Без двух минут десять. Пора, пошли.

Англичанин надел цилиндр.

Они вышли из жокейской – высокий, начавший полнеть Кромов и маленький сухощавый жокей, – миновали полутемный, идеально выметенный коридор конюшни, жокей толкнул калитку в сплошных деревянных воротах, и они шагнули через высокий порог на залитое слепящим солнечным светом скаковое поле.

Оба зажмурились от яркого света, и, едва глаза привыкли, Кромов увидел, что через скаковое поле к нему, стараясь не спешить, идет мужчина в форме французского офицера. Он показался Алексею Алексеевичу знакомым.

Да это же Петька Воронский! Петька, его однокашник по Пажескому корпусу, всего на год моложе. Почему он во французском мундире?

– Кромов! Алешка!

– Петька Воронский! Как прикажешь понимать сей маскарад?

Англичанин невозмутимо наблюдал встречу старых приятелей: объятия, похлопывание друг друга по спинам.

– Это, брат, не маскарад, – сказал Воронский, двигая полными красными губами. – Ты имеешь честь разговаривать с полковником французской армии.

– Вот как? – Выражение радости от встречи сбежало с лица Кромов. – Маньчжурскую кампанию ты начинал прапорщиком.

– А два года назад получил ротмистра. Ты знаешь, как туго у нас продвигаться по служебной лестнице. Французы сразу оценили меня – по достоинству.

И Петька Воронский подмигнул.

– Поздравляю. – Алексей Алексеевич перешел на французский язык.

– Благодарю. Ну, что же, покажешь своего бесценного жеребца? – Воронский продолжал говорить по-русски.

Кромов кивнул жокею. Англичанин поджал сухие губы и резко дважды свистнул.

Ворота конюшни распахнулись, и двое конюхов вывели на растяжках каракового англоизированного жеребца, переливающегося на солнце, словно он был облит глазурью.

– О, хорош! – изумленно протянул Воронский, когда конюхи проводили жеребца перед ним.

Англичанин вскочил в седло, собрал повод. Конюхи разом отстегнули растяжки. Жеребец, сдерживаемый поводом, пошел по кругу упругой рысью.

– Какой шаг, какой шаг! – восхищался покупатель. – Красавец, что твой Нижинский!

Англичанин перевел коня в галоп. Жеребец пошел тротом, четко выбивая ритм сухими, сильными ногами. Мускулатура рельефно выступала под блестящей шерстью.

– Это верно, что ты собирался записать его на приз? – спросил Воронский.

– Верно, – отвечал Кромов. – Это не единственная глупость, которую я мог бы сделать во Франции.

Воронский весело расхохотался.

Теперь жокей пришпорил жеребца.

– Однако, – сказал покупатель и покрутил головой. – Однако!

Жокей остановил коня. Тот грыз трензель, нетерпеливо перебирал ногами. Казалось, двух кругов и не было пройдено.

– А каков он в конкуре? – спросил Воронский, ласково похлопывая жеребца по шее.

– Останешься доволен, – ответил Кромов.

– Сердце старого кавалериста не выдерживает! – воскликнул Воронский. – Я хочу сам попробовать. Где здесь можно переодеться?

...Жокей держал жеребца под уздцы. Воронский, переодетый в бриджи и сапоги, сидел в седле. Жокей и Кромов стояли в центре скакового круга, там, где на зеленом газоне были расставлены препятствия.

– Согласись, Алеша, – сказал Воронский, – в Пажеском корпусе я уступал тебе в полевой езде, но в конкуре мы были почти на равных.

Кромов подтвердил кивком головы. Воронский собрал повод, жокей отступил в сторону. Воронский картинно смотрелся в седле. Он сделал полукруг и послал коня на препятствие. Четкий глухой перестук копыт, и вдруг перед самым препятствием жеребец присел на круп и вильнул в сторону.

– Анкор! – крикнул жокей. – Повторить!

Воронский снова сделал полукруг и выслал жеребца. Тот же результат. Всадник с трудом удержался в седле.

– Черт знает что, – сказал он, подъезжая. – Не надо было хвастаться.

Он соскочил с седла и передал коня жокею. Лицо Воронского взмокло, покраснело, он снял синюю французскую фуражку, ладонью вытер щеки и лоб.

– Я покупаю жеребца. Англичанин сказал мне цену. Деньги немалые, но конь того стоит.

– В ваших руках, мосье мой полковник, он приобретет еще большую цену.

– Ай-ай-ай, – сказал Воронский. – Это мне наука. Не надо было хвастаться. Скажи, Алексей, разве французское правительство не предлагало тебе перейти к ним на службу? Я слышал, что...

– Нет, и не предлагало, – прервал его Кромов.

– Хороши союзнички! Тебе – и не предлагало. Французы – легкомысленный народ!

– Мосье мой полковник очень строг к соотечественникам.

– К соотечественникам? Ах, да.

Кромов протянул руку:

– Жеребца оформишь через клуб. Прощай. – И зашагал через скаковое поле.

– Граф Кромов! – окликнул его Воронский.

Кромов остановился, обернулся. Воронский стоял, держась рукой за барьер, который он не сумел преодолеть.

– Алеша! – крикнул Воронский. – Ты все время говорил со мной по-французски. Отчего так?

– Из вежливости! – прокричал в ответ по-русски Алексей Алексеевич. – Просто я старался говорить с тобой на твоём родном языке. Прощай.

Петр Воронский долго смотрел вслед уходящему старому товарищу. Кромов так ни разу и не оглянулся.

XII

Август 1918 года. Букет для возлюбленной

Париж просыпается рано. Алексей Алексеевич медленно двигался в утренней деловой толпе. Август, но уже во всем чувствуется осень: в фасонах женских платьев, в ярких плакатах нового сезона на афишных столбах и особенно в названиях осенних цветов. Их продают на улицах из корзин, с тележек, просто предлагают, держа охапку букетов в руках.

– Мосье, купите букетик для своей возлюбленной.

Кромов купил астры. Подошел к уличному зеркалу оглядел себя. Потрогал кончиками пальцев усы, поправил поля новой шляпы.

Из-за плеча в зеркале выплыло лицо Вадима Горчакова.

– «Стетсон» – модная шляпа, – сказал он. – Но я предпочитаю старую «барсолину». С годами приятно быть немного ретроградом.

Он положил руку на плечо Кромову. Так они стояли, глядя друг на друга в зеркале.

– Алексей, я был у твоих на днях. Мне сказали...

– Что мы разводимся с женой? Увы, да.

– И ты берешь весь позор на себя, как Каренин? Прости, что я вмешиваюсь, но я твой друг, я любил вас обоих... А то, что говорит твой брат Платон, это правда?

– Что именно?

– Что ты сильно «покраснел».

– Неправда.

– Я так и думал, что какое-то недоразумение. Значит, ты готов стать под наше знамя?

– Наше знамя?

– Знамя, на котором начертаны святые слова: за веру, царя и Отечество.

– А как же парламент, реформы? Ты же говорил...

– Не я один. Мы говорили, а они действовали. Лучше слабоумный царь, чем остроумный псарь. Ты знаешь, что эти сукины дети, твоя обожаемая солдатня, бросили оружие и разбежались по домам? А те, что остались, братались с немцами по всему фронту. Опозорили родину-мать! Войдем в Москву, перевешаем их, как стрельцов при Петре.

– Хотите родину-мать лечить кровавыми припарками? Только палачи – плохие доктора...

– Руки боитесь запачкать, ваше сиятельство?

– Нет. Боюсь запачкать святые слова: вера, Отечество...

Рука Горчакова соскользнула с плеча Алексея Алексеевича.

– Я запомню этот день, Алексей. Сегодня я похоронил друга.

Горчаков удалялся, раздвигая толпу.

– Вадим! – позвал Кромов.

Горчаков смешался с толпой.

Алексей Алексеевич постоял, глядя в зеркало, потом, протянув руку, прикрыл ладонью отражение своего лица и, круто повернувшись, решительным шагом направился к набережной. И здесь осень. Воздух над Сеной прохладный, горьковатый. Теперь ему не терпелось ее видеть. Он почти бежал мимо зеленых лавочек букинистов. Застанет ли? Шаги гулко отдавались в пустой маленькой улочке, сплошь застроенной особняками. Как давно он здесь не был! А почему, собственно? Что его останавливало? Вот здесь она живет. Он толкнул грабленые прутья металлической калитки, прошел по мощенной плитами дорожке к дому. Еще четыре ступеньки, и дернуть медную ручку звонка. И вдруг он замешкался.

Ведь у ворот ее дома, блестя никелем, стоял роскошный новый автомобиль. Такой автомобиль может принадлежать только очень богатому человеку. За рулем сидит шофер в фуражке, которая подошла бы и адмиралу. У нее гости, ранние гости. А скорее всего, ранний гость. Ничего удивительного: молодая красивая женщина, актриса.

Куда он так спешил, незванный? Скажет ей, как клоун в цирке, «Здравствуйте, вот и я!»? Нет, надо уходить.

И тут все разрешилось само собой.

Дверь распахнулась, и молодой человек в клетчатом пиджаке, с котелком и тросточкой в руках поспешно пробежал по дорожке и оказался в автомобиле.

А на пороге дома остановилась Наталья Владимировна Тарханова в белом домашнем платье, утренняя, свежая, гневная.

– Алексей Алексеевич, – сказала она, словно они и не расставались вовсе. – Вы видели когда-нибудь такого наглеца?! Он приехал дарить авто. Предлагает мне эту рухлядь. – Она указала на автомобиль, который успел отъехать от тротуара. – Совершенно ничего не смыслит в музыке и думает, что меня можно купить... Чему вы смеетесь, Алексей Алексеевич?

Он протянул ей цветы, она взяла букет обеими руками, сказала:

– Спасибо, чудесные! – и спрятала в цветах пылающее лицо.

Усадила его у низкого окна.

– Отсюда видно Сену и мост немножко.

– Наталья Владимировна, я пришел проститься. – Слова выговаривались сами собой, и только сейчас он осознал, что это именно так.

– Вы уезжаете? – Она растерялась.

– Не знаю. Во всяком случае, я больше не смогу видеть вас. Долго. Может быть, никогда.

Она отошла к окну, и он смотрел, чтобы навсегда запомнить эти собранные к затылку волосы, нежную линию шеи, опущенные плечи. Вдруг она резко обернулась. Лицо ее было решительно, глаза полны слез.

– Зачем вы так говорите со мной? – воскликнула она с яростью. – Ведь мы любим друг друга, давно. И вы это прекрасно знаете! Боже мой, Кромов...

Ее слова стали доноситься до него словно откуда-то издалека.

– Это пытка! – выкрикнула она. – Мне все равно, что вы женаты! Все равно, вы понимаете? Вы хотели, чтобы я сказала вам первая? Я сказала. Вы довольны?

– Наталья Владимировна...

Он поймал ее пальцы, она вырвала руку.

– Я вам не говорила... никто не знает... Мой отец... Он души во мне не чаял, хотел, чтобы я ни в чем не нуждалась, верил в мой талант... Из сил выбивался, чтобы дать мне средства учиться... Он был мелким чиновником, сделал растрату. Я не хочу говорить, как я оказалась здесь, в Париже... Теперь знаменитая, сотни поклонников. Мне казалось, что вы догадываетесь о моем страхе, моем одиночестве. Все эти годы вы были для меня единственным... единственной связью с той Россией, которую я люблю, помню... которой живу... Почему вы не давали о себе знать так долго? Почему я должна довольствоваться отвратительными сплетнями о вас, чужой ложью? Говорят, что вы – большевистский агент... Это что, очень плохо? Я ничего не понимаю...

– Я не большевистский агент. Я не верноподданный государя. Я никто. Мосье Никто. Я потерял себя. Я себе омерзителен. Я люблю вас. Люблю, как никого никогда не любил и не полюблю. Но я не могу навязывать вам свои сомнения, свое ничтожество. Простите меня. Мне не надо было приходиться к вам.

На улице Кромов остановился у мусорной урны. Достал голубой конверт, тот самый, с билетами до Сан-Франциско, чиркнул спичкой, поджег край, а когда пламя охватило бумагу, бросил конверт в урну.

ХIII

Октябрь 1918 года. Папаша Ланглуа

Маленькие городки в окрестностях Парижа похожи один на другой. В центре мощеная небольшая площадь с клумбой, или фонтаном, или сделанной без претензий на высокое искусство аллегорической скульптурой, а то и памятником какому-нибудь из французских королей. Вокруг площади теснятся ратуша, церковь, дом мэра, один-два ресторанчика и магазины. Дальше – дома состоятельных жителей, торговые лавчонки. Еще дальше улицы уже не мостят, и люд живет небогатый. И уж совсем на краю городской жизни – дома огородников, тех, кто разводит овощи и продает их на парижском рынке, носящем название Чрево Парижа.

Земли у огородников немного, но вся она тщательно возделана, имеются оранжереи, парники. Дома на участках строят с таким расчетом, чтоб побольше оставить места для огородов.

Пасмурным осенним днем на окраине маленького городка, на соседних, разгороженных низким забором участках трудились двое мужчин. Их согнутые фигуры с намокшими под морозящим дождем спинами медленно двигались вдоль зеленых рядов.

Один из огородников с трудом разогнулся, воткнул в землю саперную лопату, которой он окучивал кустики зелени, и огляделся.

Сосед его, которого он видел через редкий штакетник забора, продолжал упорно трудиться. Первый огородник решительно направился к забору. Он был небольшого роста, тощий, куртка свободно болталась на плечах. При ходьбе он заметно прихрамывал, сильно припадая на правую ногу. Подойдя, облокотился о перекладину, бодро произнес:

– Привет, мосье! По-моему, нам давно пора познакомиться. Сделайте перерыв – идите сюда.

Второй огородник распрямился и, отвечая на приветливый тон соседа, улыбнулся ему. Это был Алексей Алексеевич Кромов. Голова его казалась еще более поседевшей, может быть, потому, что кожа стала темной от загара. Небольшая окладистая борода и отросшие усы делали его лицо простодушным. Неловко переступая через грядки, он подошел, сохраняя на лице улыбку.

– Позвольте представиться. – Сосед Кромова протянул ему над перекладиной жилистую, коричневую от загара руку. – Майор Ланглуа. В отставке. Теперь просто папаша Ланглуа. – Он был заметно старше Алексея Алексеевича. – Командовал кавалерийской бригадой. Списали в связи с тяжелым ранением. В бедро. Ничего, я тоже успел крепко насолить бошам в двух атаках на Марне. Небось почесываются, вспоминая папашу Ланглуа!

Сухая темная кожа на его лице собралась в бесчисленные складки.

Кромов поспешно отряхнул перепачканные землей пальцы и крепко пожал протянутую руку соседа.

– Алекс.

– Вы купили этот участок или арендуете?

– Арендную.

– Я, признаться, исподтишка наблюдаю, как вы огородничаете. Вы в этом деле новичок?

– Да, вот решил попробовать.

– Всегда можете мной располагать. Вы француз?

– Нет.

– Выговор у вас как у истинного парижанина. Но не из немцев?

– Нет-нет. – Кромов рассмеялся.

– Были на фронте?

– Приходилось. Но я в основном работал в службе обеспечения. Я русский.

Майор в отставке Ланглуа, прищурившись, раскуривал коротенькую французскую трубку.

– Не курите?

– Составлю вам компанию. – Кромов достал сигареты, закурил.

– Значит, мы союзники? Это хорошо. Я однажды видел самого маршала Жоффра, правда издали. Он приезжал в расположение нашей части. И вот с ним был русский военный атташе, полковник. Этот русский бравировал своей храбростью. Шел по брустверу под обстрелом и не кланялся пулям.

– Господин полковник! – крикнул кто-то по-русски.

Кромов обернулся на голос. У калитки стоял человек под большим черным зонтом.

– Кого он зовет? – спросил у Кромова папаша Ланглуа.

– Господин полковник, ваше сиятельство! – снова позвал человек с зонтом.

– Это ко мне. Извините.

Кромов пошел открывать калитку. Пожилой бухгалтер Глеб Ипполитович смотрел на Кромова виноватыми глазами.

– Здравия желаю, ваше сиятельство...

– Глеб Ипполитович...

– Не извольте беспокоиться, Алексей Алексеевич, – забормотал бухгалтер. – Я тогда не по своей воле... Коллегиально, так сказать... Кто старое помянет... – Бухгалтер окончательно смешался.

– Входите же...

– Покорно благодарю.

Кромов повел нежданного гостя к дому. Тот семенил за своим бывшим начальником, предупредительно поднимая над ним зонт.

На пороге бухгалтер тщательно вытер ноги, сложил зонт и только тогда бочком ступил в комнату.

– Глеб Ипполитович, как вы устроились?

– Бог милует, Алексей Алексеевич, кости, так сказать, целы, а мясо нарастет. К французу на службу я не пошел.

– А предлагали?

– Имело место. Я ведь хорошо осведомлен по долгу службы, так сказать... Но ничего, кое-что скопил за годы беспорочной... Нам с супругой пока хватало... Много ли двум пожилым людям надо...

Кромов усмехнулся, вспомнив про несостоявшийся дележ. Гость истолковал его улыбку по-своему.

– Я не одерживаться, ваше сиятельство, боже упаси... Сейчас вакансия открылась: проводником на фуникулер.

– Какой еще фуникулер?

– В Монте-Карло. Перл, так сказать, Средиземного моря. Жалованье удовлетворительное...

– Чем же я здесь могу вам помочь?

– Сию минуту. – Гость полез в нагрудный карман, извлек какую-то бумагу и зачитал вслух: – «Настоящая справка дана господину Антонову Г. И. в том, что он считается в беспорочном отпуске без сохранения содержания до прекращения в России незаконной революции». – Он протянул листок Кромову. – Не откажите подписать, господин полковник. – Глаза его за стеклами очков казались огромными.

XIV

Ноябрь 1918 года. Майор и полковник

На фасаде дома папаши Ланглуа развевался трехцветный французский флаг. Флаги были укреплены на всех домах городка. Франция отмечала день 11 ноября 1918 года – победный конец войны.

Кромов и папаша Ланглуа стояли рядом у ограды. Мужчины смотрели, как по улочке в сторону ратуши прошествовал местный оркестр. Звучала «Марсельеза». За оркестром бежали мальчишки, шла молодежь, старики. Кто-то из парней гордо выступал в военной форме. Цветы, шутки, улыбки. Папаша Ланглуа поминутно снимал форменную фуражку, отвечая на приветствие. «Мир! Победа!» – неслись крики.

– Жаль, что вы не француз, мосье Алекс, и не можете в полной мере разделить наш праздник.

Вдогонку веселой процессии провезли калеку на кресле-каталке. Он размахивал костылем.

– Да здравствует Франция! – кричал он хрипло. Глядя на калеку, папаша Ланглуа помрачнел.

– Помните, – сказал Кромов, – вы мне рассказывали про русского полковника, который шел по брустверу и не кланялся пулям?

– Конечно, помню.

– Этот полковник – я.

– Мой бог, значит, это были вы?..

Они молча курили. Издали доносилась музыка оркестра.

– Да, мой полковник, – сказал папаша Ланглуа, – за что мы так долго служили? Какую награду мы получили? Этот торжественный час победы мы проводим с вами здесь, вдали от боевых товарищей, ковыряясь в наших огородах. Бог простит меня, если я признаюсь вам: я иногда жалею, что не пал смертью храбрых за Францию. Тогда бы моя Мадлен получала пенсию побольше и могла бы поехать в горы лечиться. Этого требуют врачи.

XV

Июнь 1919 года. «Милый Жорж»

Уже начинало светать, когда Алексей Алексеевич подошел со своей тележкой к зеленому ряду. С фургонов, запряженных понурыми короткохвостыми лошадьми, заканчивали сгружать ящики и кули со снедью, протирали обитые жестью мокрые прилавки, разворачивали и натягивали полосатые тенты над торговыми рядами. Люди перебрасывались короткими бойкими фразами, тут и там в серо-сиреневых сумерках вспыхивали огоньки сигарет. Компания богатых гуляк неверными шагами пробиралась через рынок. Странно было видеть черные смокинги и цилиндры мужчин, меховые накидки женщин между грудями красной моркови, ярко-зеленого салата, громадных оранжевых тыкв.

Чувствуя на себе любопытные, добродушно-насмешливые взгляды, женщины преувеличенно громко смеялись. Молодой франт в цилиндре обошел тележку Кромова, зацепил локтем корзину, обернувшись через плечо, бросил небрежно:

– Пардон.

И тут же остановился и уставился на Кромова бессмысленными пьяными глазами. Это был тот самый «милый Жорж», который подвизался в посольстве Временного правительства и «так мало разбирался в женской психологии» – по определению мадам Кромовой.

«Неужели узнает?» – подумал Кромов.

– Та-та-та, кого я вижу! – пьяно изумился Жорж – Граф Кромов!

Алексей Алексеевич молча смотрел на него.

– Понимаю, понимаю, – зашептал Жорж, нависая над тележкой, – борода, камуфляж – конспирация. Молчу, молчу! А я, знаете ли, уезжаю из Парижа... Замуж вышел... То есть женился! – Жорж пьяно расхохотался. – На американке. Американцы – деловой народ, богачи. Да и я не дурак. Продал им кое-какие посольские бумаженции – пустячок, а заплатили не считая. Угощаете? – Жорж взял с тележки редиску.

– Джорж! – позвала рослая блондинка непрошеного собеседника Алексея Алексеевича.

– Жена! – Жорж ткнул в ее сторону надкушенной редиской. – А видите, с ней рядом брюнеточка? – Жорж подмигнул. – Тоже моя... Думаете, я не поддерживаю ваше Белое движение? Уйму денег передавал! У меня всё есть... Всё решительно! Квартира в Нью-Йорке, в Калифорнии – вилла, автомобиль... лошадей завел... Я у них на хорошем счету: специалист по русскому вопросу... Устроился прекрасно. Ну, скажите, чего у меня еще нет?

– Совести. Совести у тебя нет. – Алексей Алексеевич толкнул Жоржа тележкой. – Пошел вон! – На рынке появились первые покупатели.

XVI

Апрель 1920 года. Вадим Горчаков

Алексей Алексеевич шел по тесно заставленной маленькими домишками улочке на самой окраине Парижа.

Грязно-розовый трехэтажный дом с потрескавшимися, давно не штукатуренными стенами, над входом грубо намалеванная вывеска: «Отель “Дофин”».

Кромов достал из кармана смятый конверт, вынул записку. Сверился с адресом.

По узкой железной лестнице, вспугнув двух кошек, поднялся на второй этаж. Полумрачный коридор, обшарпанные двери с написанными желтой краской номерами. Из глубины коридора показалась женская фигура со сбитой набок высокой прической. Поравнявшись с женщиной, Кромов спросил:

– Извините, мадам, я ищу номер шестой...

– Мосье?

Женщина, придерживая на груди края широкой накидки, оперлась плечом о стену и рассмеялась. Она была пьяна.

Кромов пошел дальше, вглядываясь в номера на дверях. Вот он, шестой. Постучался.

– Войдите.

Маленькая комната, половину которой занимала широкая кровать со скомканным одеялом. Туалетный столик с круглым зеркалом. Еще кресло у окна, из которого навстречу Кромову поднялся какой-то человек. Против света Алексей Алексеевич не сразу узнал друга.

– Вадим?

– Алеша...

Они обнялись.

– Спасибо, что пришел, Алексей. Вот, садись сюда, в кресло. А я здесь устроюсь.

Горчаков сдвинул на подоконнике высокую, наполовину пустую бутылку, кулек с какой-то снедью. Сели.

– Угости папиросой. У меня, понимаешь... Только что докурил последнюю. А выйти купить – боялся с тобой разминуться. Все-таки надеялся, что придешь. Вот ты и пришел, Алексей.

Горчаков разминал сигарету, пальцы его подрагивали.

Алексей Алексеевич смотрел на друга и с трудом узнавал его. От прежнего щеголеватого полковника Горчакова не осталось и следа. Давно не бритые, худые щеки, расстегнутый ворот несвежей рубахи, истертая армейская кожанка на плечах внакидку.

– Сколько же мы не виделись, Вадим?

– Два года. Если быть совершенно точным: два года и три месяца. Ты хорошо выглядишь, Кромов. Борода тебе к лицу.

– А ты, Вадим...

– Меня не будем обсуждать. Вот видишь зеркало? Разбил бы, если б не дурная примета. Хороший табак, – сказал Горчаков, – крепкий. Это что за марка?

– «Житан».

– Да, «Житан»... Конечно. Я забыл. «Житан».

Опять помолчали.

– Да что же я? – засуетился вдруг Горчаков. – Давай выпьем за нашу встречу. Два года – это не фунт шоколада, как сказал бы твой брат Платон. Как он, кстати? В Париже? А может быть, в Лондоне? Или, как я, грешный...

– Платон в Париже. Сначала он прислал мне истерическое письмо, что запрещает являться на похороны матери. А не так давно приходил ко мне. Но не как брат к брату. Явился и в напыщенных выражениях объявил, что Союз пажей ее императорского величества постановил вычеркнуть мое имя из списков. Хорохорился, как индюк, а у самого губы трясутся...

– Вот черт! У меня только один стакан.

Горчаков старался не встречаться с Кромовым глазами.

– Прямо из бутылки пить не будем, не торжественно. Мы все-таки не на позициях. Ты мой гость, окажи честь. Прошу! – И протянул полный стакан. – За букет не отвечаю, но действует неотразимо.

– За тебя, Вадим. За нашу встречу. – Кромов выпил до дна.

– Ну, какова мерзость? – Горчаков хохотнул. – Ты, брат, в Париже еще такого не пробовал. А мне после сивухи в донских станицах и эта дрянь кажется нектаром. – И снова наполнил стакан.

– Ты был на Дону, у Деникина?

Горчаков стал медленно пить, запрокидывая голову. Поставил пустой стакан.

– А где, по-твоему, Алексей Кромов, я должен был быть эти два года? Я, полковник Горчаков, боевой офицер русской армии? Не все же такие умники, как ты или твой брат Платон. Или некоторые прочие... Да, я забыл произнести свой тост. За тебя, Кромов, за всех умников, кому своя шкура дороже России.

Кромов резко поднялся:

– Если ты через два года после разрыва наших отношений позвал меня, чтобы оскорбить, ты просчитался. Это говорю я, полковник граф Кромов, твой бывший боевой товарищ. Ты сейчас же принесешь извинения или я требую удовлетворения.

– Удовлетворения? Вот как? – Горчаков впервые взглянул прямо в глаза Кромову – Что ж... Где и когда пожелаете?

– Здесь и сейчас.

Горчаков смотрел в лицо Алексея Алексеевича широко открытыми глазами.

– Изволь... – Он встал, зачем-то застегнул ворот рубахи. – У тебя какое оружие?

– Я безоружен.

Горчаков подошел к постели, достал из-под подушки пистолет, проверил магазин, положил оружие на подоконник.

– Кинем жребий, чей выстрел первый. Кидай ты. У меня нет ни одной монетки.

Кромов достал монету.

– Орел, – сказал Горчаков.

Монетка, закрутившись, ударилась в потолок, подпрыгнула на полу и закатилась под кровать. Горчаков рывком сдвинул кровать. Монетка выпала на «орла».

– Твой выстрел. – Алексей Алексеевич встал в противоположный от окна угол, прижавшись к стене.

Горчаков поднял пистолет. Рука его заметно дрожала. Он опустил оружие:

– Ты смог бы убить меня, Алеша?

– Нет, не смог бы. А ты, Вадим?

Вадим Горчаков стоял в своем углу, опустив глаза, на его бледном лице проступил лихорадочный румянец.

– Я виноват перед тобой, Алеша. Прости меня. Когда я ехал на Дон, – говорил Горчаков, – я думал, да что я, все мы так думали: красные – грабители, убийцы, насильники. Они отвергли мораль, традиции, заповеди Господни. Разве это люди? Это звери... Значит, мы, белые, совсем другие, совсем «обратные». Белые убивают только в бою. Кто приколол раненого, кто убил пленного, кто грабит мирное население, тот лишен чести. Кто хочет мстить, тот заболел «красной падучей», такому не место среди нас. Белые не палачи, они воины, спа-

сители России. Боже мой! Что из этого вышло! Никогда не забуду этого аристократического мальчика лет семнадцати-восемнадцати. На нем вдруг откуда-то новенький полушубок. Я его спрашиваю: «Стива, откуда это у вас?» А он: «От благодарного населения, конечно». И кругом все рассмеялись. Все!

Гвардейские офицеры, и молодые дамочки смольного воспитания, и такие же добровольцы, как этот Стива... Это же чудовищно! Им смешно, что этот мальчик, отпрыск тысячелетнего русского рода, еще не успев бестрепетно пролить кровь за Россию, стал грабить русский народ. И доказал, что паны только потому не убивали и не грабили, что были богаты. А как обеднели... «От благодарного населения!» Они смеются над тем, что население теперь возненавидело этих потомков дворянских семей, давших в свое время Пушкина, Толстого... Белую идею мы сами опохабили, утопили в крови... Я еще не понимал этого, когда получил приказ контрразведки Добрармии пробраться в Москву к Брусилову.

– Генерал Брусилов в Москве, у большевиков?

– Да. Контрразведка получила сведения, что он тяжело ранен в ногу. Случайный выстрел трехдюймовки во время уличных боев. Он находился у себя дома, и вот – представляешь? – осколочное ранение. В трех войнах он уцелел, а тут... Какая странная судьба! Как я добирался до Москвы, не буду рассказывать. Добрался. Узнал, что генерал Брусилов находится в частном госпитале. Проник к нему. Он лежал, но чувствовал себя бодро. Сказал, что рана не так серьезна, что он нарочно не торопит врачей с заживлением, чтобы оставили в покое большевики и меньшевики. Я передал письмо, в котором генералу Брусилову предлагалось бежать на Дон с нашей помощью. Он прочел письмо, положил под подушку, и знаешь, что мне сказал? «Никуда не поеду. Пора нам забыть о трехцветном знамени и соединиться под красным». – Горчаков дернул шеей, словно его что-то душило. – Помнишь, Алеша, того солдата в Маньчжурии с караваем хлеба на штыке? Простит ли он нас когда-нибудь?

XVII

Июль 1920 года. Ни помощи, ни пощады

– Поручик Стенбок. Рад, что застал ваше сиятельство.

– Кто дал вам мой адрес?

– Господин полковник Горчаков. Он приказал мне немедленно доставить вас к нему.

– Откуда вы знаете полковника Горчакова?

– Мы вместе с Вадимом Петровичем эвакуировались из Одессы, когда красные взяли город...

– А почему немедленно? Что случилось?

– Не могу знать. Я выполняю поручение. Такси ждет у ратуши.

«Очень странно, – подумал Кромов. – Уж не тот ли, “от благодарного населения”, как его звали?» – припомнил Алексей Алексеевич рассказ друга.

Но лицо поручика, юное, по-девичьи нежное, с криво подстриженными усиками, располагало к доверию.

Пока Кромов одевался, молоденький поручик с любопытством разглядывал обстановку комнаты. Хозяин заметил это и опрокинул стоящую на столе фотографию лицом вниз.

Кромов и поручик сидели в такси позади шофера.

Шофер запел тихонько. Сквозь шум мотора Алексей Алексеевич уловил знакомую мелодию, потом расслышал слова:

– ...Ты у меня одна заветная... другой не будет никогда...

Поручик шепнул на ухо Кромову:

– Офицер, георгиевский кавалер. Делал попытку самоубийства: безденежье и прочее.

Теперь работает в такси и помогает нам.

– Кому «нам»?

Поручик сделал вид, что не слышал вопроса.

У входа в отель «Дофин» Кромов вылез из такси.

– Шестой номер, – подсказал поручик, – я сейчас за вами.

Та же лестница, тот же полутемный коридор. Алексей Алексеевич постучался. Никто не ответил. Кромов толкнул дверь, вошел. В комнате никого. Вдруг кто-то захлопнул дверь за ним.

– Вадим, – Кромов дернул ручку, – что за глупые шутки?

– Полковник граф Кромов, – негромко сказал по-русски из-за двери низкий, тяжелый голос, – не пытайтесь выйти. Это в ваших же интересах. Выслушайте нас.

Алексей Алексеевич стоял у двери, прижавшись к стене, не зная, что предпринять.

Голос продолжал:

– Мы давно следим за каждым вашим шагом. И не доверяем вам. Поэтому не хотим, чтобы вы знали нас в лицо. Нам известно, что вы, отклонив все сделанные вам выгодные предложения, тем не менее самовольно сохранили за собой полномочия и архив военного атташе. Вы до сих пор используете ваши многолетние связи, чтобы аннулировать договоры по военным заказам с французскими фирмами. Нравится вам это или нет, но Россию здесь представляем мы. И мы добились у французского правительства ареста всех вверенных вам сумм военного кредита. Но вы упредили нас и успели перевести деньги на свой личный счет. Версия, что вы собираетесь беззаботно существовать на эти средства, отпадает. Из этих денег вы не истратили ни сантима. У вас какие-то другие цели. Допустим, что вы, не желая подвергать себя риску, рассчитываете передать средства законному правительству России, когда мы силой оружия покончим с большевиками. Но тогда непонятно, почему вы до сих пор не передали деньги Белому движению. Здесь нет логики. Или вы ждете нашего поражения, чтобы воспользоваться деньгами? Не дождетесь. Полковник Горчаков – ваш близкий друг. Он выполнял кое-какие наши поручения, был в красной Москве. Потом дезертировал из Добрармии. Не исключено, что в Москве его завербовала большевистская ЧК. Он скрывался от нас и встречался в Париже только с вами. На вас падает тяжелое подозрение. Вы можете доказать свою лояльность, только передав нам архив, все договорные права и наличные средства. Этим вы сохраните не только свою жизнь, но обеспечите себе безбедное существование. Мы дадим вам твердые гарантии, и до конца ваших дней вам не придется торговать на рынке и позорить мундир русского офицера. В Крыму барон Врангель формирует новую армию. У вас есть еще время подумать, но не пробуйте увильнуть, вы не дождетесь от нас ни помощи, ни пощады. Условный знак для нас – трехцветный российский флажок в окне вашего жилища. И последнее. Полковник Горчаков покончил с собой. Вы меня слышите?

Кромов не ответил.

– Через пять минут можете выйти. Раньше не рекомендуем.

Алексей Алексеевич сполз по стене на пол. Он задышался.

Потом вскочил, стал бешено барабанить кулаками в дверь.

Дверь распахнулась.

Женщина с высокой прической испуганно смотрела на него:

– Мосье?

Он промчался по коридору, по лестнице, выскочил на улицу. Улица была пуста.

Дорога шла между двумя прудами, через плотину, посаженную редкими деревцами. Дождь, морозящий весь день, не прекратился и к вечеру. Наоборот – припустил сильнее. Вокруг, насколько хватало глаз, не было ни души.

Алексей Алексеевич шагал по плотине. По дороге к нему приبلудился мокрый пес и теперь неотступно следовал за Кромовым. Человек останавливался, и пес останавливался, сохраняя небольшую безопасную дистанцию. Когда человек протягивал руку, пес отскакивал и ждал. Кромов продолжил путь, и пес снова брел за ним.

Алексей Алексеевич, обычно ступавший твердо, по-военному, теперь шел неуверенно. Он крепко выпил, ему хотелось с кем-нибудь поговорить по душам, услышать в ответ родную дружескую речь. Но, увы, это стало невозможным. И поэтому Кромов обрадовался обществу пса и хотел установить добрые отношения.

Так они вошли в городок и добрались до крыльца дома на огородном участке. Пес присел на дорожке и наблюдал, как Алексей Алексеевич отпирал нехитрый дверной замок.

– Пойдем, – позвал Кромов пса, – надо же обсушиться, привести в порядок амуницию.

Пес не шевельнулся, Кромов вошел в дом, оставив дверь открытой. Зажег лампу. Пес медленно, осторожно взошел на крыльцо, двинулся дальше в комнату.

Кромов не обращал на него внимания. Сбросил промокшее пальто, шляпу, пиджак. Надел сухую куртку.

Вынул из кармана пальто бутылку арманьяка. Поставил на стол рюмку. Посмотрел на пса. Пес лег и положил морду на лапы. Кромов достал вторую рюмку и поставил на стол.

Прошел мимо пса, закрыл дверь.

Пес только ухом повел слегка.

Кромов вернулся к столу, отрезал кусок сыра, поманил собаку:

– Иди сюда.

Пес завилял хвостом и подошел.

– Садись. – Алексей Алексеевич похлопал по старому креслу.

Пес подумал и прыгнул в кресло. Кромов дал ему сыр. Пес мгновенно проглотил и облизнулся.

Алексей Алексеевич разделил сыр пополам и положил на стол перед псом, рядом с рюмкой. Пес деликатно взял, стал есть. Кромов наполнил рюмки.

– Будь здоров, – чокнулся с рюмкой на столе.

Пес смотрел на него, склонив голову набок.

– Не понимаешь. Извини. А вот санте! – И выпил рюмку.

Протянул руку к фотографии, которую положил на стол, когда пришел поручик. Из рамки на него смотрела Наталья Владимировна Тарханова.

– Извините, – сказал ей Кромов, – я пьян. – И поставил фотографию на стол.

– Как тебя зовут? – спросил он.

Пес заерзал в кресле.

– У нас бы тебя назвали Полкан. Нет, для Полкана ты мелковат, а потом мы не можем быть с тобой в одном чине. А для Шарика ты тощий больно. Я тебя буду звать Дружок. Хорошо?

Кромов закурил и тяжело задумался.

– Полагаешь, я нейтрал? – с пьяной серьезностью Алексей Алексеевич спросил пса. – Ни богу свечка ни черту кочерга? Ошибаешься... Я всю жизнь презирал нейтралов! Так-то вот, Дружок мой лопоухий...

Лампа горела, хотя за окном уже было утро. Дождь кончился. Кромов спал, укрытый курткой. Пес пристроился в ногах кровати. Наталья Владимировна смотрела на них из рамки портрета.

XVIII

Наталья Владимировна

Наталья Владимировна держала в опущенных руках свой портрет и смотрела на спящего Кромова, в ногах которого пристроился вислоухий пес. Пес давно следил за ней одним глазом. Он видел, как она вошла, как взяла со стола портрет. Судя по ее уверенным, спокойным движениям, она имела на все это право, и пес на всякий случай слабо повиливал хвостом.

Алексей Алексеевич застонал, повернулся на спину и открыл глаза. Некоторое время он смотрел на Наталью Владимировну, потом закрыл глаза и отвернулся к стене. Пес спрыгнул с кровати.

Наталья Владимировна не знала, что подумать.

– Алексей Алексеевич, – страдальчески вздохнула она.

Кромов стремительно вскочил с кровати, словно его подбросило пружиной. Пес схоронился под стол и оттуда залаял.

Теперь Кромов смотрел на свою гостью, не понимая, снится это ему или нет.

Наталья Владимировна только сейчас подумала, что, возможно, поступила поспешно, появившись здесь. Она растерялась, но старалась совладать с собой, и голос ее потому прозвучал излишне сухо.

– Алексей Алексеевич, – сказала она. – Я съехала с квартиры и распродала все свои вещи. Оставила только самое необходимое.

Она пошла к выходу. Кромов, как лунатик, двинулся за ней.

Она распахнула дверь.

У калитки, занимая всю ширину улочки, возвышаясь чуть ли не вровень с его домиком, вытянувшись до участка папаши Ланглуа, стоял огромный фургон.

Рабочие вытаскивали из него белый рояль.

Приступ безудержного смеха бросил Кромова на перила крыльца. Слезы выступили на глазах.

Пес бешено лаял, прыгая вокруг них.

Кромов едва сладил с этим приступом, когда она спросила:

– Вы не прогоните меня?

Хохоча как сумасшедший, он опустился перед ней на колени.

XIX

Май 1923 года. У ворот Русского кладбища

Строгий православный крест, облицованный белым мрамором. Внизу, на табличке, выбита надпись: «Софья Сергеевна Кромова» – и даты рождения и смерти.

Алексей Алексеевич, положив цветы на перекладину креста, постоял, задумавшись. Потом медленно побрел по дорожкам кладбища, вглядываясь в надписи на надгробиях.

В сквозящих весенних ветках насаженного рядами кустарника на низком цоколе мелькнула фамилия: «Горчаков».

Сердце будто оборвалось. Глотая прохладный майский воздух, Кромов раздвинул ветви и шагнул к могиле.

«Горчаков Федор Федорович, профессор архитектуры». Буквы написаны славянской вязью.

Выйдя из ворот, Кромов надел шляпу и долго прикуривал, ломая спички и загораживая огонек от налетающего ветра.

Сбоку от ворот, на дощатом прилавке под низким навесом, цветы. Продавец – плотный мужчина с красным обветренным лицом – неторопливо вяжет букетики. Рядом, прислоненные к стене, стоят венки.

Безлюдно.

Только вблизи прилавка, прямо на тротуаре, рядом расположились нищие. Шесть-семь жалких фигур, одетых в разноцветное тряпье.

Когда Кромов проходил мимо, продавец окликнул его:

– Мосье, позвольте прикурить...

Краснолицый раскурил обломок сигары, поворачивая в пальцах протянутую ему сигарету, и спросил:

– Мосье русский?

Алексей Алексеевич утвердительно кивнул.

– Только русские дают прикуривать вот так. – И для наглядности повторил движение Кромова. – Среди этих, – мотнул головой в сторону нищих, – тоже есть русские. Двое. Один, вон тот, скрюченный, если его разговорить, бывает презабавный. – И покрутил пальцем у виска.

Кромов остановился против указанного нищего. Тот, видно, дремал, опустив голову на грудь. Спина его угодливо сгорбилась, загорелая лысина с грязно-бурыми кудельками на висках блестела на солнце.

Алексей Алексеевич опустил несколько монет в стоящую перед калекой картонную коробочку. Сидевший рядом со спящим человек, кисти рук которого были обмотаны на удивление чистыми бинтами, стрельнув в Кромова круглыми, обезьяньими глазками, толкнул соседа локтем.

– Проснись, полковник, – наверное, это было прозвище калеки, – поблагодари мосье за щедрость.

Спящий помотал головой, нехотя поднял лицо.

В этот миг Алексей Алексеевич готов был поклясться, что с ним уже так было, что он много раз видел все это – серый прилавок с яркими пятнами цветов, залепленную солнечными бликами стену, ветви деревьев над ней и это лицо с напряженно-внимательными, пугающе бессмысленными глазами, с незнакомым розовым шрамом, стекающим через переносицу в седоватую отросшую щетину бороды. Но где он мог это видеть? Как? Нет, нет, никогда...

– Вадим, – позвал Алексей Алексеевич и не услышал своего голоса.

Обезьяньи глазки соседа-нищего впилась в Кромова со звериным любопытством.

– Мосье зовет тебя, – он снова толкнул Горчакова локтем, – ты знаешь этого господина, эй, полковник?

Горчаков отвел взгляд и нахмурился. Казалось, он что-то мучительно припоминает.

Алексей Алексеевич склонился, обхватив плечи друга, пытаясь поймать его взгляд.

– Вадим... Ты узнаешь меня? Это я, Алексей... Алексей Кромов... Ты видишь меня, Вадим?... Это я... Алеша...

Кривая усмешка тронула губы Горчакова. Он глянул Алексею прямо в глаза:

– Зачем вы так говорите?.. Вы Нестеров? Я не знаю никакого Нестерова... Я хочу пообедать в Ростове. – И хрипло рассмеялся.

– Что он говорит, мосье? Что он говорит? – спросил человек с обезьяньими глазками.
– Пойдем отсюда, Вадим. Пойдем со мной.
Алексей Алексеевич подхватил Горчакова под мышки и пытался приподнять.
– Напрасно, напрасно стараетесь, – пробормотал Вадим и вдруг страшно, надрывно закричал: – Мне больно! Больно!
– Куда вы его тащите, мосье? – испуганно взвизгнул сосед-нищий.
Еще двое поспешно поднялись и подошли поближе.
– Эй, ты! Оставь его! Что он тебе сделал? – заорал краснолицый, выходя из-за прилавка.
– Пошел ты к черту! – крикнул Кромов краснолицему. – Это мой друг...
Горчаков, до этого расслабленный, тяжело повисший на руках, вдруг напрягся всем телом и, извернувшись, вцепился зубами в руку Кромова.
Алексей Алексеевич успел увидеть, как краснолицый, схватив обломок доски, выскочил из-за прилавка.
И тут жестокий удар обрушился сзади. Кромов устоял на ногах, но после второго удара в голову он упал и потерял сознание.
Алексей Алексеевич пришел в себя в полицейском участке. Старший из полицейских, без мундира, в рубашке, перекрещенной помочами, заканчивал перебинтовывать Кромову голову.
– Еще немного терпения, мосье. – Он, ловко разорвав бинт, затягивал аккуратный узелок. – И что вам за фантазия пришла связываться с этим дерьмом? Это уже не люди.
Полицейские переглянулись.
Старший выразительно пожал плечами.

XX

Июнь 1921 года. В монастыре

– ...Ибо не станет вопрошать кощунственно: почему живу, Господи? – Старец закашлялся и, прижимая платок к губам, скользнул сердитым взглядом по лицу Кромова.
Алексей Алексеевич живо припомнил, с каким испугом всего час назад настоятель смотрел на безумные гримасы Вадима, и усмехнулся горько.
Они шли по монастырскому парку втроем: старый настоятель русского православного мужского монастыря, затерянного на юге Франции, Кромов и Наталья Владимировна.
Шли по узкой аллее между высокими старыми тополями, осыпающими их снежным пухом цветения.
– Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное, – продолжал старец, отдышавшись и уже не так сердито взглядывая на своих спутников. – Призреть убогого калеку есть не только святой долг наш, но и благо для монастыря.
Кромов теперь мучился сознанием, что не испытывает ни любви, ни сострадания к этому сумасшедшему калеке, а только жалость, брезгливую жалость. И это жестокое признание, которое он вдруг сделал самому себе, болезненно сжимало сердце стыдом и тоской.
«Это потому, – пытался утешиться Кромов, – что безумец этот не Вадим, которого я знал и любил... Я сделал все, что мог, для несчастного калеки. А Вадима Горчакова не существует, он умер... Нет, его убили. Они убили его, замучили, и я не помешал этому. Но я не мог! Почему? Может быть, я тоже умер? Кто я вообще такой, зачем живу? Кому я нужен? Наташе? Только Наташе? А если ее любовь – это тоже жалость?»
Он похолодел от этой мысли, испуганно взглянул на Наталью Владимировну. Она ответила вопросительным, встревоженным взглядом, взяла его под руку.

«Нет, Наташа понимает меня... У меня никого не осталось, кроме нее... еще Платон... “Союз пажей ее императорского величества”... клёкла и клюкла...»

Откуда-то впереди, из-за поворота аллеи, доносились звук пилы, однообразно сменяющиеся скрежетание и взвизг. Настоятель подставил сухую ладонь, ловя тополиные пушинки.

– В смутные времена, когда люди теряют власть светскую и мирское богатство свое, идут они к нам, и входы наши открыты для них. И постигают, каждый по вере своей, заповедь Господнюю: «...не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут».

Звук пилы оборвался.

Старец закончил в наступившей тишине:

– «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше».

Они вышли к повороту аллеи.

Двое монахов трудились у высохшего тополя. Двуручная пила уже въелась в толстый, в полтора обхвата, ствол.

– Не дергай рукой, – наставлял немолодой монах своего напарника, – плавно выводи на себя пилу, плавно...

Напарник повел плечами, разминая натруженную спину в пропотевшем подряснике, стянул с головы черную шапочку и, отирая ею лицо, обернулся.

Рука со скомканной шапочкой остановилась. Какие-то секунды монах, замерев, глядел навстречу подходившим широко раскрытыми глазами. Потом отвернулся и взялся за работу.

И вновь заговорила пила.

В Париж возвращались поездом. Глядя в окно, за которым пробегали ночные огни, Наталья Владимировна сказала:

– Алеша, ты знаешь... Вот странно... Мне показалось, что тот монах... который так внимательно смотрел на нас... тот, с пилой... что вы с ним очень похожи. Правда, странно? Почему ты молчишь, Алеша? О чем ты сейчас думаешь?

– О том монахе. Это Платон. Мой родной брат.

XXI

Сентябрь 1921 года. Первое предупреждение

Папаша Ланглуа, облокотясь на изгородь, размахивал газетой:

– Мосье Алекс! В «Пари-суар» любопытная статья!

Кромов подошел.

– Вот: «После разгрома красными крымских армий барона Врангеля в кругах правительственной оппозиции обсуждается вопрос об установлении дипломатических отношений с большевистской Россией». Ну, а дальше сплошная ругань.

– Вы можете оставить мне газету?

– Нет проблем, мосье.

В доме Наталья Владимировна заиграла на рояле.

– Что это за музыка? – спросил папаша Ланглуа.

– Чайковский, Первый концерт.

– Ваша жена прекрасно играет. Моя Мадлен оживает от ее музыки.

Он выбил трубку и заковылял к своему дому. Кромов проводил его взглядом и тоже двинулся домой. Пес бежал перед ним. Рояль гремел.

В улочку выехало такси и медленно покатило вдоль забора.

Кромов был к улице спиной, когда раздался выстрел.

Пес подскочил над дорожкой, завыл, завертелся волчком.

Кромов бросился к Дружку, поднял его на руки. Голова собаки мокла в крови. Кромов обернулся. Такси, выбросив клуб желтого дыма, быстро удалялось.

XXII

Ноябрь 1921 года. Большевик

Наталью Владимировну разбудил стук. Тихое, вкрадчивое постукивание в оконное стекло. Она села на постели и прислушалась. Стук повторился.

– Алеша, – позвала она шепотом, – Алеша, проснись...

– Я не сплю, – тоже шепотом отозвался Кромов.

Они спали во второй, совсем маленькой комнате. Проходную комнату теперь почти целиком занимал рояль. Дверь между комнатами была приоткрыта. Стучали в окно проходной комнаты.

Кромов, стараясь не шуметь, натянул брюки. Выдвинул ящик тумбочки, достал пистолет. Перевернул затвор, дослав пулю в ствол.

– Мне страшно, Лешенька, – еле слышно сказала Наталья Владимировна.

– Не бойся, – зашептал ей в самое ухо, – пока запугивают, не станут убивать. Ведь покойники банковских чеков не подписывают.

Кромов неслышно протиснулся в дверь. Прижимаясь спиной к стенке, пошел к окну.

«Бдом!» – гулко ударили привезенные Натальей Владимировной «необходимые» часы. «Бдом!»

Два часа ночи.

Чей-то темный силуэт в окне. Голова в кепи, широкие плечи. Человек что-то держит в руках. Внезапно огонек спички осветил лицо ночного пришельца. Полбышев!

– Наташа! Это Полбышев, старый мой товарищ, – в голос сказал Кромов и сам постучал в стекло.

Силуэт под окном пропал, слышались шаги на крыльце.

– Георгий Иванович?

– Так точно.

Кромов впустил Полбышева в дом. Зажег лампу. Полбышев мало изменился. Посуровел весь как-то. В щегольском парижском кепи выглядел особенно русским.

– Простите, Алексей Алексеевич, за ночное вторжение. Нужда привела.

– Вам денег надо? Сколько? Все, чем могу...

Полбышев засмеялся:

– Вот ваши бывшие дружки кричат, что у вас зимой снега не допросишься. Знаете, как они вас прозвали? Красный Граф. Они «острят»: собака на реке Сене – сам не ест и другим не дает. А мне – пожалуйста.

– Нет, я из своих, личных...

Наталья Владимировна выглянула из-за двери, щурясь на свет:

– Вы тот самый Полбышев?

– Тот самый.

– Мне Алеша... Алексей Алексеевич о вас все рассказал.

– Так уж и все!

Дверь закрылась.

– Голоден? – спросил Кромов и, не дожидаясь ответа, стал снимать с полки тарелки со снедью и ставить на рояль.

– Сколько нужно денег?

– Не нужны деньги. В другом нужда.

Полбышев покосился на дверь, за которой скрылась Наталья Владимировна.

– При ней можно говорить?

Кромов кивнул.

– Я в Россию подаюсь, Алексей Алексеевич. С двумя товарищами.

– В Россию? Ты ж унтер-офицер, старослужащий.

– Бойтесь, к стенке поставят? Ну ладно, от вас мне таиться нечего. Сам пришел с просьбой. Большевик я. В партии с девятьсот четвертого года.

Алексей Алексеевич опустил на стул:

– Так. Значит, когда ты меня из огня на себе тащил, ты...

Полбышев развел руками: ничего, мол, не поделаешь.

– Значит, я большевику жизнью обязан? Это... это... не фунт шоколада. – Лучшего выражения почему-то не нашлось.

– Себе вы обязаны. Таких офицеров, как вы, в царской армии, может, всего на один полк наберется.

Вошла Наталья Владимировна. Тихонько пристроилась у рояля, рядом с Кромовым.

Полбышев заметно нервничал, молча поглядывал на хозяйку исподлобья. Кромову это не понравилось. Он потребовал строго:

– Говори, что нужно.

Полбышев, видимо, решился:

– Из Франции нас так, за здорово живешь, не выпустят. Вы ведь должность свою военного атташе за собой сохранили?

– Пока сохранил. Формально. Но вам – большевикам – это ведь все равно. Что, не так?

– Не так. Здесь, в Европе, нас пока не признают. А ваши подписи и печать здесь действительны. Вот и командуйте нас, скажем, в Финляндию. Вытащите меня на себе, Алексей Алексеевич, – и квиты.

Кромов размышлял не более минуты.

– Хорошо. Завтра в Париже в четырнадцать ноль-ноль на Итальянском бульваре, в кафе...

– Так точно.

– Что сейчас творится в России? – спросил Алексей Алексеевич. – Ты, наверное, знаешь...

Полбышев достал из кармана вчетверо сложенный листок, протянул Кромову.

Алексей Алексеевич развернул, стал читать. Наталья Владимировна тоже читала, заглядывая из-за его плеча.

«Декрет о бывших офицерах, – побежали перед глазами строчки. – Все те бывшие офицеры, которые в той или иной форме окажут содействие скорейшей ликвидации остающихся еще в Крыму, на Кавказе и в Сибири белогвардейских отрядов и тем облегчат и ускорят победу рабоче-крестьянской России... будут освобождены от ответственности за те деяния, которые они совершили в составе белогвардейских армий Врангеля, Деникина, Колчака, Семенова и проч... Председатель Совета народных комиссаров В. Ульянов (Ленин). 2 июня 1920 года».

Кромов сложил листок, отдал Полбышеву:

– Агитируешь, приглашаешь поехать?

Лицо Полбышева еще больше помрачнело.

– Вы спрашиваете, что в России, – я отвечаю. А агитировать, приглашать... Если вы это так понимаете, то напрасно... Здесь, – он помахал листком, – в который уже раз русским людям напоминают, что они – русские. Оказывают доверие.

– По-твоему, быть русским – значит быть большевиком?

Полбышев вдруг рассмеялся:

– Может, с некоторых пор и так, если в корень смотреть. Однако офицеры, что откликнутся, не в большевики пойдут, и вряд ли из них большевики получатся. Но они будут со своим народом, а значит – с нами. Вот я – большевик, а вы мне доверяете. Вы доверяете мне?

– Тебе доверяю. Но ведь не все...

– Нет, не все. Люди ожесточились сердцем... На то она и гражданская война, классовая. Три года Республика в кольце фронтов. В стране разруха, голод... Но там – Ленин.

– А какой он, Ленин? – Это Наталья Владимировна спросила.

– Ленин? Как вам рассказать?

Полбышев задумался. Видно, он впервые отвечал на такой вопрос, и не только им, а себе тоже. Потом он медленно произнес:

– Вот я в бедной крестьянской семье рос. Жизнь вокруг надрывная, каторжная, бесправная... А я маленький был, надеялся, что никогда не умру. Вечно буду жить и все вокруг исправлю, сделаю справедливым, радостным. Жил этой надеждой. А вот теперь точно знаю, что я, Георгий Иванович Полбышев, – бессмертный человек!..

Полбышев улыбнулся, потом вдруг смутился, опустил голову и, смешно насупившись, поглядел настороженно.

Гулко пробил час.

Полбышев подобрался, сказал:

– Мне пора.

– Я провожу. – Кромов накинул куртку.

– Прощайте, будьте счастливы...

– Рады, что едете домой? – спросила Наталья Владимировна, когда Полбышев уже переступал порог.

Он обернулся:

– Птица и та из теплых краев тянется на родное гнездовье. Тысячи верст летит через реки, моря, через пустыню какую-нибудь африканскую...

– Да вы, оказывается, поэт! – И Наталья Владимировна с улыбкой взглянула на мужа.

– Поэт, поэт... – Алексей Алексеевич усмехнулся. – Прилетит птица домой, и там ее охотник – бац!

– Охотники – они повсюду есть. И в Африке, и где хотите... – Полбышев нахлобучил кепи. – Но человек-то не птица. Так что вы меня, Алексей Алексеевич, на слове не ловите.

Простились на плотине.

– Доберешься, Георгий Победоносец?

– Нельзя не добраться, Алексей Алексеевич.

– Да, я и забыл: ты же бессмертный...

XXIII

1922–1924 годы. Между вопросом и ответом

Дела по аннулированию договоров с французскими фирмами закончились. После отказа Советского правительства выплатить царские долги фирмы сами себя освободили от каких-либо договорных обязательств. Но до этого Кромов не терял времени зря.

Теперь Алексей Алексеевич привел в порядок всю документацию и хранил архив вместе с денежными суммами в личном сейфе в Банк-де-Франс.

Дни его проходили размеренно и монотонно. Огород, оранжерея, поездки в Париж на рынок и ежедневное чтение газет. Газеты он покупал пачками и внимательно просматривал. Всю информацию о Советской России вырезал и аккуратно подклеивал в тетрадку. Таких тетрадок накопилась внушительная стопка.

Но информация в основном была крикливая, противоречивая и – Кромов чувствовал это сердцем – ложная. И поэтому даже к редким статьям, написанным с симпатией к его Родине, он относился с недоверием.

Папаша Ланглуа и его жена были единственными людьми, с кем Кромовы еще поддерживали общение. Раза два в неделю устраивались совместные обеды, всегда у Ланглуа: безнадежно больная Мадлен почти не покидала дома. Папаша Ланглуа, видя, что русский полковник не идет на разговоры о своих делах, давно оставил пустое любопытство.

Во время этих семейных обедов майор ударялся в армейские воспоминания или в обсуждение перспектив овощной торговли или с наслаждением поносил правительство, громко хохоча над своими остротами.

У Натальи Владимировны были кое-какие сбережения. Она сделала попытку уговорить Алексея Алексеевича бросить огородный участок, переехать на скромную квартиру и жить на ее средства. Кромов категорически отказался. Тогда она стала исподтишка улучшать их быт. В доме вдруг появлялись новые вещи: кофейный сервиз на четыре персоны – «Правда, миленький?» – или комплекты постельного белья, скатертей и занавесок – «Ну, уж в это, пожалуйста, не вмешивайся, Алеша!» – или теплая меховая куртка для Кромова – «Оставь, это необходимо». Он постепенно смирился.

«Ведь это ее дом, – думал Алексей Алексеевич. – Она хозяйка. Что ж, пускай...»

У них подобралась небольшая библиотека русской классики. Долгими зимними вечерами они бесконечно перечитывали любимые с детства страницы. Откладывая в сторону книгу и слушая, как Наташа поет вокализы – она занималась по два-три часа ежедневно, – Кромов ловил себя на мысли, что, несмотря на устоявшийся, размеренный быт, на то, что он любит Наташу и любим, его жизнь здесь представляется ему чем-то временным, почти нереальным.

«Что я хочу, чего я жду, что я должен делать?» – спрашивал себя Алексей Алексеевич. Его стала мучить жестокая бессонница, и он скрывал это от жены.

Совершенно неожиданно приехал старый импресарио Натальи Тархановой. Восхитился огородом, оранжереей, домом и вдруг предложил ей турне на весь сезон.

Наталья Владимировна предложение не приняла. Шутила, сравнивая себя с легендарным римским императором, оставившим трон ради выращивания капусты.

Когда импресарио уехал, Алексей Алексеевич, до этого боявшийся, что Наташа согласится, стал убеждать ее, что она не имеет права зарывать в огороде свой талант.

Наталья Владимировна продолжала отшучиваться, а потом разрыдалась и наговорила Кромову много обидного. Они впервые поссорились. Скоро и бурно примирившись, больше к этой теме договорились никогда не возвращаться.

После выстрела, того, подлого, никаких враждебных действий со стороны русской эмиграции не замечалось. Казалось, Кромовы оставили в покое. Но Алексей Алексеевич знал, что это только отсрочка. Глубокая тревога в душе не проходила, и к ней он не мог привыкнуть.

Однажды, просматривая газеты, Кромов наткнулся на список русских фамилий. Это был перечень царских военных атташе в разных странах, которых Советское правительство объявляло врагами Родины. Список был длинный. Алексей Алексеевич перечел его несколько раз. Фамилия Кромов в нем отсутствовала.

Что это – опечатка? Случайный пропуск или...

Ответа спросить было не у кого.

И только когда на другой день его фамилия замелькала на страницах многих газет с эпитетом «тайный агент Москвы», Кромов понял, что ошибки не было.

Тысячи новых вопросов, требующих немедленного ответа, встали перед ним в ясной реальности.

Всем существом своим ощущая, что приближается решающая минута, которая потребует от него всех его сил, всей его воли, всей его любви к Родине, Кромов углубился в себя, затаился, перестал замечать окружающее.

– Все будет хорошо, Алеша. Все будет хорошо, – упорно твердила Наталья Владимировна.

И эта простая ее вера, выраженная простыми словами, укрепляла его.

И вот – падение правительства Пуанкаре, а вскоре во всех газетах: между Францией и Советской Россией устанавливаются нормальные дипломатические отношения на уровне посольств.

Мучительное, слепое ожидание чего-то кончилось. Кромов принял решение.

XXIV

В банке

Алексей Алексеевич вошел в кабинет старшего управляющего Банк-де-Франс.

– Господин старший управляющий...

– Зачем так официально, мосье, ведь вы наш старый и весьма уважаемый клиент.

Они обменялись вежливыми улыбками.

– Я старый ваш клиент, мосье Шолон, но могу повести себя по-новому. Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, при которых мне понадобится весь вклад наличными.

– О-ля-ля, мосье!

– Это может произойти внезапно, то есть я не смогу заранее предупредить банк.

Управляющий с пониманием склонил голову.

– В рекламном проспекте вашего банка написано, что вы стремитесь выполнить все просьбы своих клиентов. А если просьба покажется вам странной, вы ее выполните?

– Да, мосье, если это не противоречит закону и не выходит за пределы разумного.

– Я хотел бы взглянуть на свое состояние.

Управляющий секунду задержался с ответом.

– Я сейчас распоряжусь. – И нажал кнопку на столе.

...Хлопнула стальная зарешеченная дверца маленького лифта. Управляющий и его клиент спускались вниз. Мелькали неподвижные охранники на лестничных площадках.

Они вышли из лифта и углубились в узкие бетонированные коридоры, освещенные ровным светом скрытых ламп. Время от времени перед ними возникали обитые стальными листами двери, перекрывающие коридоры. При их приближении буквально из стены выходили молчаливые фигуры и, поворотом рукоятки открыв двери, пропускали дальше.

Наконец они оказались у стальной решетки, которую управляющий открыл своим ключом и запер за Кромовым, пропустив его вперед.

Они были в самом сердце банка. По стенам огромной комнаты тянулись нескончаемые стальные дверцы шкафов с точечными отверстиями для ключей.

Служащий банка, в строгом темном костюме, с лицом стертым, как старая монета, уже ждал их. Он сунул тонкий ключ в замок одной из створок. Несколько раз повернул.

Раздался металлический щелчок, дверца распахнулась. За ней была еще одна дверца. Опять несколько поворотов ключа, щелчок – и сейф открылся. Внутренность сейфа была разделена полками. В строгом порядке были уложены продолговатые бруски золотых слитков. Служащий выдвинул стальной ящик, находящийся за дверцей сразу под полками. Ящик был доверху набит запечатанными пачками крупных банкнот. Сверху лежал лист бумаги, испещренный цифрами и подписями. Служащий взял лист, передал управляющему.

– Двести двадцать пять миллионов шестьсот тридцать две тысячи семьсот тридцать франков, – прочел управляющий. – Остальное в кредитных бумагах.

XXV

Третьего предупреждения не будет

Город еще спит, укрытый плотным сиреневым туманом. Но Чрево Парижа – рынок – уже пробуждается. Около рынка открываются, грохоча железными ставнями, первые кафе. Перед ними на тротуарах красными пятнами загораются жаровни, на которых кипит дешевый бульон.

Бедный люд – сторожа, разгрузчики, носильщики – наполняет кафе. Прислонившись к сверкающей цинковой стойке, эти плохо одетые, плохо спавшие, ожидающие какой-нибудь работы люди спасаются здесь от ночного холода или обманывают свой голод рюмкой крепкой водки, стаканчиком горячего вина.

В этой толчее у стойки Алексей Алексеевич тоже попивает теплое вино, согревая о стакан руки.

Вышел на улицу. Подняв воротник пальто, взялся за рукоятку своей двухколесной тележки, уставленной ящичками и корзинами с зеленью.

Покатил тележку перед собой. Колеса застучали по брусчатке. Навстречу в улицу медленно въехало такси. Тусклый свет фар расплывался в тумане. Кромов со своей тележкой посторонился, пропуская автомобиль на узкой улице. Разминувшись с зеленщиком, такси, взревев мотором, круто развернулось и помчалось прямо на человека с тележкой. Глухой удар. Кромов отбросило к стене дома. Высокое деревянное колесо тележки, вихляя, покатилось вдоль улицы. Корзинки, ящики развалились по мостовой, рассыпав кучки зелени. Такси снова разворачивалось, ревя мотором. Мелькнуло напряженное лицо водителя.

– Поручик Стенбок! – властно крикнул Кромов, шагнув к машине. – Я вас узнал!

Мотор заглох. Такси стояло поперек улицы. Шофер, тот самый, с испитым лицом, который тогда возил Кромову, злобно посмотрел на него. Рядом сидел Стенбок.

– Здравия желаю, ваше сиятельство! – В приветствии поручика звучала издевка.

– Еще узнаешь своих? – спросил шофер Алексея Алексеевича. – Тем лучше. Советуем одуматься. Ты ведь офицер, русский человек.

– Учтите! – крикнул Стенбок. – Третьего предупреждения не будет!

Такси развернулось, давая корзинки, и исчезло за поворотом.

XXVI

Товарищ Кромов

Кромов трудился в огороде у парников.

– Мосье мой полковник! – Папаша Ланглуа протиснулся в калитку. Шляпа съехала на затылок. Опираясь на палку, он прискочкой спешил по дорожке. – Я только что из Парижа. Потрясающая новость: над зданием русского посольства – красный флаг!

Алексей Алексеевич уронил лейку в салатные грядки. Вбежал в дом. Схватил со стола чайник и скрылся за дверью маленькой комнаты.

Наталья Владимировна вернулась из магазина. Поставила сумку на рояль, стала разгружать: вынула длинный белый батон, какой-то сверток в промасленной бумаге.

Значит, нечего тужить.
Будем ждать и будем жить.
Что же делать, милый чиж,
Ведь на то он и Париж... —

напевала она на мотив «Баюшки-баю».

В дверь постучали, и сразу же вошли три человека. Одинаковые темные костюмы, темные шляпы, темные галстуки.

– Добрый день, мадам, – сказал старший. – Полиция.

Двое других встали по бокам от двери.

– Вы пришли нас арестовывать? – Наталья Владимировна испуганно смотрела на две темные неподвижные фигуры у входа.

– Нет, совсем нет! – Старший вежливо улыбнулся. – Мосье Кромов, – он с трудом выговорил русскую фамилию, – он дома?

– Нет, кажется... – Наталья Владимировна взглянула в окно.

У парников стоял папаша Ланглуа. Вид у него был растерянный.

– Вы мадам Кромова?

– Да, – неуверенно ответила она – Что случилось?

– Министерство внутренних дел имеет в своих руках неопровержимые доказательства о заговоре, подготовленном против вашего мужа вашими же соотечественниками-эмигрантами. Поэтому мы просим вас помочь нам выполнить возложенное на нас служебное поручение. Вот эти два агента, – он указал на фигуры у двери, – будут являться к вам с утра в назначенный час, всюду вас сопровождать и...

В этот момент Кромов вошел в комнату. На парадном русском полковничьем мундире, под белым Георгиевским крестом, блестели боевые ордена Свв. Анны и Владимира с мечами и французский орден Почетного легиона. Шнуры серебряного аксельбанта Академии Генерального штаба опускались из-под погона на правую сторону груди, почти касаясь петлями широкого, шитого серебром пояса. На чисто выбритом лице темнели подстриженные усы. Фуражка с белым кружком кокарды была чуть сдвинута на правую бровь. Наталья Владимировна тихо ахнула.

– Благодарю вас, господа, – сказал Алексей Алексеевич. – Вы свободны. Я русский офицер и сумею постоять за свою честь и жизнь.

...Кромов шел по Парижу. Оглядывались редкие прохожие.

Улицы в это время почти безлюдны. Священный для Парижа час обеда.

Кромову оставалось свернуть в короткий переулок, пройти его до конца, и тогда откроется здание посольства – дворец д'Эсгре, на улице Гренель, дом № 79.

Алексей Алексеевич свернул в переулок. Посреди переулочка у противоположного тротуара стояло такси. Работал, постукивая, мотор. Кромов сразу узнал машину, но не повернул назад, не остановился, не замедлил шага, не заспешил. По-прежнему четко отдавался стук его каблучков.

Рука в черной перчатке соскользнула по рулю такси, взяла револьвер, лежащий на сиденье.

Расстояние между такси и равномерно шагающим человеком сокращалось.

С места водителя уже совершенно отчетливо видны ордена на мундире.

Покачивался в ритме шагов белый Георгиевский крестик.

Кромов смотрел прямо перед собой, куда-то далеко-далеко.

Вот он поравнялся с такси, вот миновал его, удаляется, сейчас повернет на улицу Гренель. Сошел с тротуара, повернул.

Вцепившись зубами в кожу черной перчатки, чтобы удержать рвущийся из горла вопль, сморщив жалкое испитое лицо, корчился в истерике за рулем парижского такси другой русский офицер, георгиевский кавалер, не посмевший выстрелить в товарища по оружию. Поручик Стенбок, дергая губами, выплевывал ругательства: «Слюнтяй!.. Пьяная скотина!.. Сволочь!»

Алексей Алексеевич стоял на улице Гренель и смотрел, как над зданием посольства колышется под ветром знамя новой России.

Едва переступив порог посольства, он понял, что новые жильцы еще не обжились: приемная была устроена прямо на площадке парадной лестницы. При появлении Кромова из-за большого стола поднялся широкоплечий парень, чем-то напоминавший Полбышева.

Алексей Алексеевич хотел назвать себя и вдруг понял, что он не знает, как это сделать, как сказать: полковник граф Кромов, просто Кромов...

Он не предполагал такого затруднения и молчал.

– Товарищ Кромов? – спросил парень. – Я правильно угадал?

Усилием воли стараясь преодолеть охватившее его волнение, Алексей Алексеевич попросил:

– Повторите... повторите, как вы сказали...

– Я сказал: товарищ Кромов... – Парень заметно смутился. – Вас сам полпред так назвал. Он говорил: сразу же доложи, если придет товарищ Кромов.

– Товарищ Кромов! – Полпред Советского Союза Красин вышел навстречу Кромову. – Здравствуйте. Георгий Иванович Полбышев говорил, что вы обязательно к нам придете...

XXVII

Январь 1925 года. Документы

Бумага с Государственным гербом СССР:

«№ 248. г. Париж. 15 января 1925 года. Бывшему Военному Агенту во Франции А. А. Кромову.

В предвидении предстоящих переговоров с французским правительством по урегулированию финансовых вопросов я считаю необходимым предложить Вам поставить меня в курс тех русских денежных интересов, кои Вы охраняли здесь по должности Военного Агента до дня признания Францией Правительства СССР.

*Полномочный Представитель СССР
во Франции
Л. Красин».*

Бумага на бланке Русского Военного Агента во Франции:

«На № 248. Полномочному Представителю СССР во Франции Л. Б. Красину г. Париж. 17 января 1925 года.

Я считал долгом принять Ваше обращение ко мне от 15 января за приказ, так как с минуты признания Францией Правительства СССР оно является для меня представителем интересов моей Родины, кои я всегда защищал и готов защищать.

А. Кромов».

Эпилог

– Товарищ Кромов! – крикнул молодой сильный голос, и эти слова, подхваченные утренним прохладным ветерком, полетели через мокрый от росы березняк и пропали в шуме потревоженной листвы.

– Идем! – протяжно раздалось в ответ.

Из березовой рощи на желтый песок скакового круга вышли трое мужчин. Гимнастерки, перетянутые кожаными портупьями, шпалы на воротниках, седые виски под околышами фуражек с красными звездами – все говорило о том, что это выдавшие виды командиры Красной армии.

Двое идущих впереди были Георгий Иванович Полбышев и Алексей Алексеевич Кромов. Третий – очень высокий, сутулый, с неподвижным, точно вырезанным из дерева, лицом – строго оглядывал скаковую круг. Командиры остановились, чтобы принять рапорт молодого кавалериста, почти мальчика. Лихо бросив сомкнутые пальцы к козырьку, он отрапортовал Кромову:

– Товарищ инспектор кавалерии! Личный командный состав отдельной кавалерийской бригады к показательным учениям готов!

На скаковой дорожке по трое в ряд стояли верхами кавалеристы. В центре круга их ждали полосатые барьеры препятствий.

Молодой кавалерист побежал к своему коню. Застоявшийся жеребец крутился, не давая сесть. Кавалерист, тихо ругая коня сквозь зубы, ловил ногой стремя.

– А ну, дай-ка, – вдруг сказал Кромов.

Он схватился за луку и взлетел в седло. Жеребец с места пошел коротким галопом. Описав полукруг, Алексей Алексеевич выслал коня на препятствие. Прыжок – барьер взят. Новый посыл, еще прыжок – второй барьер позади.

Высокорослый командир, покусывая травинку, спросил Полбышева:

– Товарищ Полбышев, а ты давно знаешь военспеца Кромова?

– Еще с Русско-японской, с девятьсот четвертого. Полковник, имеет царские награды, к тому же из графьев...

– И ты за него поручился?

– Как за себя. Сомневаешься?

Командир выплюнул травинку, прищурился и ничего не ответил.

А конь, легко преодолев последнее препятствие, выскочил на желтый песок дорожки. И тут всадник пустил его карьером. Мелькнули смеющееся лицо Полбышева, веселые, молодые лица кавалеристов.

Конь скакал во весь опор, и навстречу Кромову спешили ветви берез в зеленой листве, и, все расширяясь, в конце аллеи открывалось утреннее с разводами легких облаков небо его Родины.

Иван, себя не помнящий (случаи из жизни одного кинолюбя)

От автора

Любите ли вы кинематограф советской эпохи так, как люблю его я? Знаю, что любите и готовы бесконечно пересматривать многие фильмы.

Но мало кто из вас знает, что происходило или могло происходить, так сказать, за кадром «важнейшего из искусств».

Демонстрацию некоторых, особенно зарубежных, фильмов иногда предваряет или завершает такая надпись: «События и персонажи данного фильма вымышлены. Любые совпадения случайны».

Так заявляют авторы фильмов, с одной стороны, для того, чтобы избежать ненужных обид и придинок, а с другой стороны, чтобы зрители, а в моем случае читатели, тут же начали искать прямые соответствия героев произведения с действительной жизнью.

Ищите, дорогой читатель! И если отыщете, посмеемся вместе.

Случай первый

Как объяснял потом Иван Иванович, все произошло оттого, что телефон-автомат ненадолго глотал монетки и не то чтобы вообще не давал соединения, а соединял его не с тем, кого бы Иван Иванович хотел услышать.

И поэтому Ивану Ивановичу поневоле приходилось слушать обрывки чужих и совсем ненужных ему разговоров. Сначала о двух неотгруженных вагонах картошки, исчезнувших в неизвестном направлении со станции Сызрань, потом детский голос уверял, что спать после обеда все равно не будет, потом две подружки говорили, мало ли о чем говорят две подружки, когда они даже не подозревают, что их может подслушать совсем посторонний мужчина.

Между этими разговорами автомат продолжал глотать монетки, и Ивану Ивановичу пришлось то и дело выбегать на улицу, чтобы попросить прохожих разменять мелочь.

Дорогой читатель! Если к тебе на улице подойдет человек, все равно какой: пусть это будет мужчина средних лет, среднего роста и средней упитанности, в распахнутом плаще немодного покроя и в кепке, надетой козырьком несколько вбок и сдвинутой к затылку (а именно так выглядел тогда Иван Иванович и точно так была надета на его голову кепка) – то не проходи мимо, читатель!

И вы, уважаемая читательница! Даже если вы вообразите, что это пристает к вам какой-то нахал, то все равно не спешите убегать или звать на помощь милиционера. Прошу вас, приостановитесь и выслушайте хотя бы первую фразу, которую выговорит этот глуповато улыбающийся (а именно такое выражение принимал тогда рот Ивана Ивановича) и, весьма возможно, с утра нетрезвый мужчина.

И если вы услышите вдруг:

– У вас не найдется монетки, позвонить? – то обязательно остановитесь, умоляю вас, остановитесь и старательно пошарьте в сумочке, в карманах, в портфеле или еще где придется, чтобы непременно отыскать нужную монетку, все равно в какой комбинации: одна двухкопеечная или две по копейке. Ведь и с вами может произойти – не дай бог, конечно, – то самое, что произошло с Иваном Ивановичем.

Ивану Ивановичу, как он потом рассказывал, пришлось бежать не спеша, как от инфаркта, в магазин, за целый квартал от автомата, чтобы разменять мелочь.

А в магазине в этот момент как раз прозвонило 11 часов, так что Ивана Ивановича, сами понимаете, не подпустили к кассе и даже обещали «фотографию начистить». А очередь двигалась мучительно медленно потому, что кассирша внимательно пересчитывала горы той самой мелочи, которая так нужна была Ивану Ивановичу. Когда же наконец Иван Иванович набрал нужных ему монеток и, отдуваясь, дотрусил до телефонной будки, то обнаружил, то есть не обнаружил... вернее, обнаружил, что не обнаружил... Телефон-автомат был на месте, крючок для временного подвешивания ручной клади тоже был на месте, а вот желтого портфеля с чернильным пятном около застёжки, его, Иван Ивановичева портфеля – не было.

Не было, черт его подери, а вместе с портфелем исчезла и рукопись, в нем замкнутая. Его рукопись, Ивана Ивановича.

Тут, как объяснял потом Иван Иванович, «это самое удивительное и случилось».

А случилось то, что Иван Иванович, стоя у края тротуара, майским весенним утром в Столице, в наши дни начисто запамятовал, что было написано в его рукописи, которая исчезла вместе с желтым портфелем с чернильным пятном около застёжки. Запамятовал, и все тут. Забыл напрочь.

Иван Иванович сначала очень удивился этому неожиданному обстоятельству, отнеся такую мгновенную потерю памяти за счет нервного волнения.

Он даже закурил сперва, уверенный, что память сыграла с ним глупую шутку и сейчас вернется. И что вообще так не бывает: сам писал рукопись и сам вдруг ничего не помнит. Но шутка из глупой уже становилась скверной: Иван Иванович действительно не мог вспомнить ни слова из своей рукописи. Как он ни напрягался, как ни затягивался табачным дымом, как ни зажмуривался – ничего рукописного вспомнить не мог.

Помнил формат писчей бумаги – обыкновенный, помнил ее качество – плохое, даже узнал бы листы на ощупь, а вот что писал на этих листах, хоть убей, не мог вспомнить.

Помнил отчетливо, что сама тема была выбрана очень верно, очень нужная нашему широкому зрителю была тема, а вот как он эту тему выразил художественными средствами – это как отшибло.

«Ерунда какая-то, – подумалось Ивану Ивановичу, – придется позвонить Райке, пусть напомнит. Глупо, конечно, но что поделаешь...»

Райка эта, по прозвищу Райка-попрошайка, была хорошо известной в кинематографических кругах машинисткой. От нее-то и шел в это майское утро Иван Иванович и нес в желтом портфеле с чернильным пятном около застёжки рукопись своего сценария, перепечатанную.

Простите, строгие мои читатели, что за переживаниями Ивана Ивановича ничего путевого вам о нем еще не рассказал.

Пока Иван Иванович в том же невезучем автомате с помощью с таким трудом добытой мелочи пытается дозвониться до машинистки, у нас есть время спокойно посмотреть его анкету.

Эта подробная анкета заполнялась Иваном Ивановичем в течение последних лет ежегодно. Ивана Ивановича прямо-таки раздирало необъяснимое желание зачем-то повидать жемчужину Адриатического моря, город на воде Венецию. И ему в этом ежегодно отказывали в зарубежном отделе общества кинолюбов, терпеливо разъясняя, что желающих посмотреть город на воде много, а путевок мало. К тому же Иван Иванович уже дважды был в Болгарии и поэтому должен набраться терпения и ждать...

Но мы отвлеклись. По анкете значилось, что фамилия Ивана Ивановича – Распятти, рождения 1926 года, беспартийный, судим не был, родственников за границей не имеет, профессия – сценарист, член Общества кинолюбов.

В графе боевых наград перечислялись медали с названиями освобожденных молодым Иваном Ивановичем европейских городов, среди которых город на воде, естественно, не значился.

В последней, шестой по счету анкете стояло, что Иван Иванович в настоящее время работает над сценарием под названием... Вот под каким названием он сработал сценарий, Иван Иванович как раз и желал сейчас вывести у Райки-попрошайки, которой он наконец дозвонился.

– Раиса Михайловна, это я, Распятти, – трескуче закричал он в трубку, как кричал когда-то в трубку полевого телефона, боясь, что связь отрежут, – я хочу узнать ваше мнение о моем сценарии. Как вам понравилось название? – схитрил Иван Иванович, сам стараясь вспомнить раньше Райки-попрошайки и с леденящим душу ужасом убеждаясь, что сам вспомнить названия не может.

– Я, извините, Ван Ваныч, вашего названия не помню, – отстучало в ответ. И только Иван Иванович с некоторым даже облегчением подумал: «Что, и она тоже?», как услышал: – Я вообще ваших рукописей не читаю, а перепечатаваю. Если у вас ко мне какие-нибудь претензии по машинке – приносите, исправлю. И конфеты обещанные захватите. А читать, извините, времени нет. Вот сейчас Макар Аполлонович срочную статью прислал на сорок страниц, так что же, по-вашему, читать мне ее прикажете? Я еще с ума не сошла. Про конфеты не забудьте.

И загудело в трубке.

Случай второй

Иван Иванович нацепил трубку на рычаг и ошалело уставился на крючок для подвешивания ручной клади, словно надеялся, что желтый портфель с чернильным пятном около застежки каким-то образом вдруг объявится на крючке.

Но портфель не объявился. Крючок торчал из стены бесстыдно голенький. Иван Иванович в сердцах хватил по нему кулаком и пребольно зашиб руку.

«Дурак я дурак! – мысленно осудил себя Иван Иванович, усердно дуя на сбитые в кровь костяшки пальцев. – И с чего я так расписовался, спрашивается? Будто никто, кроме меня и машинистки, моего сценария в глаза не видел. А редакторша моя? Да она этот сценарий должна лучше самого меня знать, досконально помнить, что я там такое сочинил. Ну-ка, который час?»

И только Иван Иванович намерился взглянуть на часы, как дверь автоматной будки распахнулась, горячо дохнуло кислым духом суточных щей, и глухой бас прогремел над Иваном Ивановичем следующие справедливые слова:

– Ты что здесь прописался, козел?

И одновременно с этими словами на огромной волосатой руке сунулся под нос Ивану Ивановичу циферблат ручных часов, стрелки которого обозначали около четверти двенадцатого.

Пока обладатель глухого баса заполнял будку, Иван Иванович быстро вычислил в уме, как ему выйти на свою студийную редакторшу Маргариту Аркадьевну Болт.

«На студию ехать не стоит, – прикинул Иван Иванович, – С десяти до двенадцати она скорее всего на каком-нибудь совещании. А если никаких совещаний нет, то и ее нет. А после двенадцати – тут Иван Иванович даже присвистнул, представив себе, как он разыскивает редакторшу на киностудии. “Только что тут проходила”, – удивляются люди, снующие по бесконечно длинным коридорам. Придется периодически возвращаться в кабинет редакторши и там слышать от неизвестно чем занятых в редакторском кабинете незнакомых

мужчин: «Она только что вышла». А если попробовать передать, что он, Распятии, ее разыскивает, незнакомцы тут же ответят, что сами собираются уходить.

«Самое верное домой ей сейчас позвонить, – подытожил Иван Иванович свои вычисления, – все-таки больше вероятности застать».

И через некоторое время он снова водворился в будке. Трубка пахивала кислой капустой, но телефон, словно устыдившись прошлого своего безобразия, заработал исправно. Иван Иванович терпеливо слушал долгие гудки и был вознагражден:

– Да?

– Маргарита Аркадьевна?

– Ну я. Кто это?

– Это Распятии. Здравствуйте!

– А-а... Вы по поводу аванса? Я уже убегаю на студию, – привычно соврала Маргарита Аркадьевна непослушным со сна голосом.

– Нет-нет. Аванс я давно получил. Маргарита Аркадьевна, у меня тут вышла неприятность.

– Что такое? Пустомясов отклонил?

– Нет. У Пустомясова я еще не был.

– Все ясно.

«Что ей там такое ясно?» – удивился Иван Иванович.

– Алле!

– Ну?

– Маргарита Аркадьевна, у меня здесь в автомате пропал портфель с рукописью сценария. – Иван Иванович теперь и не пытался вспомнить название. – Украли, пока я за мелочью бегал.

– Украли? – трубка хмыкнула. – Кому он... Странно. Вы шутите?

– Не шучу. Алле!

– Я слушаю, – сказала Маргарита Аркадьевна.

– Это еще не самое странное. Я вам сейчас скажу, только вы не вешайте трубку и учтите, что я вообще не пьющий. Честное слово. Алле?

– Я слушаю, – сказала Маргарита Аркадьевна. Иван Иванович шумно вдохнул воздух и произнес на одном дыхании:

– Самое странное, что я начисто забыл, о чем писал в сценарии, и название забыл.

В трубке зашелестело.

– Маргарита Аркадьевна, напомните, умоляю!

В ответ раздалась всхлипывания и:

– Я вообще не хотела с вами работать. Теперь я понимаю, почему вы не нашли общего языка с Саквояжеевым. Зачем вы меня не предупредили заранее?

– Как не предупредил? О чем?

Но, видно, у Маргариты Аркадьевны Болт уже сложилась своя, редакторская точка зрения на только что предложенный Иваном Ивановичем оригинальный сюжет:

– Сколько раз я вам говорила... я просила... все вы так... никогда ничего, я так и знала!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.